

АЙБЕК

Собрание сочинений

АШЪЕНЖ

Собрание сочинений в пяти томах

Ташкент
Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма
1987

СТИХОТВОРЕНИЯ

МОЯ ПОЭЗИЯ

*Поэзия! Когда пришла весна,
Пришла и ты. И мне с тех пор верна.*

*Ты в трудный час сestroю нежной,
Звездой лучилась в грусти безнадежной.*

*Размолвок не знавали мы с тобой,
Ты мне звучала музыкой живой.*

*Не убоялась ты шипов колючих,
Ни яростных громов, ни неба в тучах.*

*Под тяжестью порой слабел мой дух,
Ты тяжесть бед сдувала, точно пух.*

*Теплом весны одолевала зимы...
Дары твои — они неисчислимы.*

*Стихи рождались из моей крови
И опьянялись лозами любви.*

*С тобою песня расцветала внове,
И солнце улыбалось в каждом слове.*

*Слова преображались в сад цветущий,
Поэзия вспоила эти кущи.*

*В них — счастья свет и правды торжество.
Мой голос — глас народа моего.*

ВОЛЬНАЯ ПТИЦА

Залетная птица с красой неземною
На ветке уселась в кустарниках тала.
«О пташка,— просил я,— побудь же со мною,—
Мне юное сердце тревогою сжало!

Ты песню пропой мне ладами созвучий,—
Вспарит мое сердце на крыльях веселых,—
Целебен, как тайна, напев твой певучий,
И светоч надежд моих вспыхнет, как всполох!»

«О нет, я тоскую по счастью, по воле,
Мне горше, чем в клетке, летать по низовью.
Вдали от садов, в неизведанном доле
Все сердце мое обливается кровью!

Не надо, не кличь меня, в небо взлечу я,
Мне любо на воле,— ответила птица,—
Весна расцветет, и, приволье почуя,
Я буду, к цветам приникая, резвиться!»

И птица окрест оглянулась, и смело
На крыльях в высокое небо взлетела.

1924

РАБОЧЕМУ

Всё ведомо тебе, рабочий;
И нищета и тяжкий гнет,
Но в горький час, во мраке ночи,
Ты верил в солнечный восход.

Ты победил нужду и голод,
Освободился от цепей;
Вздывая ввысь могучий молот,
Куешь ты счастье для людей.

К борьбе уверенно зовущий
Повсюду слышен голос твой.
Восстань, голодный, неимущий,
И мир недоли вековой
Ты переделай в сад цветущий
Своею собственной рукой!

1925

ЧЬЯ ЗЕМЛЯ?

На просторах зеленых долин
Только труд стал теперь господин,
Заблестели здесь серп и кетмень,
Ты, бедняк, здесь хозяин один!

Кто смеется, кто счастлив у нас?
Бывший раб стал джигитом сейчас.
Он — хозяин чудесной земли,
Над которой весна поднялась.

Кровью эта земля полита,
Гнула спину всегда беднота,
Но привольно дехканам теперь,
И сбылась вековая мечта.

Разнесен, уничтожен тот строй,
Встала светлая жизнь над землей.
Не подыметя страшный кулак
Над твоею, бедняк, головой!

Эй, дехканин! Работай смелей,
Землю эту засеи и полей,
Собирай урожай и трудись
На земле — она стала твоей.

1925

ЗВЕЗДА ЛЕТИТ

А вечер снова взнуздан жаждой счастья.
В пернатом сумраке летит звезда.
И тишина!.. Как будто все напастн
И не гостили в мире никогда.

Как будто в мире беды не бывали.
Летит звезда. Поля небес пусты.
Звезда летит, и в сумрачном провале
Ее поймать пытаются кусты.

Так ожиданье сладко и тревожно.
Горит звезда. Густеет тишью темь.
И черный ствол, как сломанный треножник,
Дрожит, держась за собственную тень.

Звезда сгорает в сумраке пернатом,
И дым листвы дыряв, как решето,
И длится миг, и что-то выбрать надо,
И страшно выбрать что-нибудь не то.

1928

МОЙ ГОЛОС

Друзья, мы боремся не зря.
Я славлю день высокий наш,
Я понял ясно, где заря
И где — обманчивый мираж.

Я не хочу и не могу
В часы, когда шумит прибой,
Глядеть на дальнем берегу,
Как две волны вступают в бой.

Нет, я с тобой, рабочий класс,
В одном ряду, в одном строю
Добуду, смерти не страшась,
Победу в яростном бою.

Пусть нас в пути преграды ждут,^{*}
Они не сломят смельчаков;
Мы утверждаем в мире труд,
Освобожденный от оков!

1928

САМАРКАНДСКАЯ ДЕВУШКА

Самаркандская девушка, мне не расстаться
с тобой,

Не расстаться с тобой;
Ты в разлуке была моей ясной звездой,
Путеводной звездой.

Ты росла в нищете, когда серые дни,
Навеяв печаль,
Превращали цветущие дали весны
В недоступную даль.

Но безрадостных дней и осенних ночей
Равнодушная тень
Красоты не посмела коснуться твоей,—
Ты прекрасна, как день.

Лучезарные крылья румяный восход
Над тобою простер,
И тебя, как весенняя песня, зовет
Неоглядный простор.

И счастливые годы встанут впереди,
Расцветают вокруг,
Словно алый тюльпан у тебя на груди,
Мой единственный друг.

Стала ты и любовью моей и судьбой,
Нераздельной судьбой;
Самаркандская девушка, мне не расстаться
с тобой,
Не расстаться с тобой!

1928

* * *

Безымянная в сердце тревога,
Окаянное пламя в крови.
Не гони ты меня, ради бога,
Эту ловчую рать накорми.

Голубеет лоскутная просинь,
Шапка нищая медью полна.
Желтым озером падает осень
В опустевшие наши поля.

Вспоминаю, какой ты мне снилась,
Жду,
 когда ты приснишься опять.
О, не лучше ли нищую милость
На безжалостный гон променять?

И, судьбу безраздумную птичью
Обретая в пустыне полей,
Стать последней
 отчаянной дичью
Беззаконной охоты твоей?

1928

* * *

На дуга легла ночная тень.
Дотемна мы по лугам блуждали.
Лепетали травы целый день.
Тайны их мы поняли едва ли...

Вечность пронеслась иль краткий миг?..
Сколько мы блуждали меж полями —
Я не знаю... Но в сердцах двоих
Вспыхнуло и разгорелось пламя.

1928

* * *

Когда покоюсь я в объятиях мечты,
И шелк ее руки мои врачует раны,
Сдается мне, что с горной высоты
Смотрю на мир сквозь кисею тумана.

Печаль нахлынет, душу мне тесня,
Опять спешу к мечте моей в объятья,
Прекрасней нет мгновений для меня,
Агаты глаз бросаюсь целовать я.

А улыбнется мне издалека,
Вдруг расцветет душа пышной цветка.

1928

* * *

Разлукой не пугай напрасно.
Нет, наши души сплетены!
Любовь — нежнейший лист атласный —
Да не поблекнет в дни весны!

Весна открыла нам объятия.
Скорее выйдем за порог!
Пусть поиграет шелком платья
Весенний нежный ветерок!

Щебечут птицы так влюбленно.
Давай побродим по полям!
У речки, в мураве зеленой
Фиалки улыбнутся нам.

1928

* * *

Тоска души моей, как капля, пролилась,
Скатилась на листок, пока писал я это...
Любовь без отклика, твоя всеильна власть!
И, видно, только ты — удел поэта.

Молю! Когда в саду ты это все прочтешь,
Хоть тень надежды мне даруй впервые!
Очами звездными мгновенно уничтожь
Тот траур, что глаза мне застит озорные!

1928

* * *

Снова мчится куда-то аллея,
Две зеленых откинув косы.
Словно бешеной скачке оленя
Повзрослевшие вторят кусты.

Как стремителен каждый идущий!..
Вопрошает и требует взгляд.
Горизонты,
 и небо,
 и тучи
Позабытою волей манят.

Что ж такое творится со всеми?..
Это мы,
 начиная с азов,
Снова учимся слушать
 весенний
Непонятный и трепетный зов.

Это снова весна,
 это снова
Капля в каждой фиалке горит.
Не водою,
 а жизни основой
Оживающий полон арык.

1929

* * *

Сети полночи странны и нежны —
Кто их снова оставил висеть?
И опять нас, опять безнадежно
Оплела эта нежная сеть.

По земле расстилаются тени,
И опутали землю сполна
Страсти, света и веток сплетенья,
Измышления листьев и сна.

Нас уносит потоком прощанья,
И легки, и бессильны слова,
И уходит, и просит прощенья
Нас поймавшая полночь сама.

1929

КОГДА Я ВЕРНУЛСЯ

Когда я вернулся,
и к нашей свернул махалле
Трамвай,
и опять я вошел в этот узкий проулок,—
Новехонький месяц сиял, как жестянка, во мгле
И узенький ветер казался пустынен и гулок.

А утром — на улице тесной играет весна,
И нет на ней места следам и обломкам былого,
И песни взлетают — как брызги от взмаха весла,
И девушки
в песню вставляют веселое слово!

Вздремнул у стены притомившийся сторож-старик
(Как я его трусил, когда огородами лазил!),
И так по-домашнему рядом ружьишко стоит
И страшная псина по имени Четырехглазый!..

Прошли богомольцы по улице — два или три —
И словно сглотнули их
пасти калиток скрипучих.

А старый Рахим — тот, что веники делал,—
«Смотри!—

Кричит мне, кидая улыбки сияющий лучик.—
А я-то гадаю, куда ты пропал, большевой!

Живой ли, здоров ли — ни писем, гляжу,
ни привета...»

— «Что делать, в науку ударился...» — «Чем, головой?»

Вот то-то распухла, гляжу,
от науки от этой!»

Вон клуб у мечети —
расчет оказался не глуп!..

Флажок на двери, и цветами откуда-то пахнет,
И улица чуть не с полудня заполнила клуб —
Вперила глаза
в бесконечные партии шахмат.

Вернулся, вернулся!.. Ну как же я все-таки рад!
Гляжу, и девчонки за шахматы нынче болеют..
Смотрю, как знакомо висит на стене транспарант
И Ленина бюстик привычно у входа белеет.

Из клуба выходит веселой толпой молодежь.
Друзья увидали — объятия, хохот!..

Я должен
Признаться: покуда в изменчивом мире растешь,
Так радостно вспомнить, что где-то —
всё те же, всё то же..

Всё то же?.. Давно ли вот здесь мы играли,
и с крыш
Скакали по-козьи, и дрались, и ладили миром!
Так мчишься порой — как подковою, пяткой искришь!
Ах, детство,
не той ли ты дикой свободой мило?

Ты вроде бы рядом — а все-таки время бежит.
Вгляжусь ли в товарищей — движется, движется время!
Словечки иные, в ином проявляется «шик»,
И взрослости чуешь
невидимое ускоренье.

Всё больше навстречу знакомых и лиц и фигур.
Всё — то же по виду, и всё изменилось по сути!
Вот наш секретарь комячейки, трудяга Тургун:
Был мальчик у бая,
а нынче студент в институте!

Как прежде, беспечно, без устали шутит Ахмад,
Но нету Камила. Куда-то удрал втихомолку?..
«Да он кузнецом на заводе! — ребята шумят. —
Не знаешь?.. Женился!
Ученую взял! Комсомолку!»

Наш треп развеселый чего только не задевал!..
Но все разошлись понемногу, калитки прикрывши.
Лишь лампочек груши протянут лучи за дувал.

Пожами в былое —
антенны на низеньких крышах.

Наш дом приютился на улице в самом конце.
Отец дожидается...

Он вечерами усердно
Сидит возле радио. Впрочем, вечерний концерт
Не слушают разве
одни перепелки соседа..

1929

ЖЕНЩИНА-КОНДУКТОР

О, как прочно дикость, боль, страданье,
Женщина, сплелись в твоей судьбе!
Но весна в лучистом одеянье
Улыбнулась наконец тебе.

Ты из клетки вырвалась на волю.
Ты теперь — передовик труда.
Светлая и радостная доля!
Прошлое исчезло навсегда.

И гремят, чуть утро, под трамваем
Рельсы после сна — настал рассвет.
Маленькие руки отрывают
Первому рабочему билет.

Едешь — и с утра до самой ночи
Твой трамвай весь город обойдет.
Да, твой труд к рассвету приурочен —
Ждешь, глядишь на звездный небосвод.

На тебя мужчина незнакомый
Глянет — улыбнешься, не тая,
Той улыбкой. И в глаза любому
Правда улыбается твоя.

Женщина-кондуктор! Дни за днями
Пусть летит трамвай — то новый путь!
Захлебнулось прошлое слезами —
Так расправь же сдавленную грудь!

1929

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕСНЯ

Нам выпало счастье — в нелегкие годы,
Решая оружием судьбы веков,
Сорвать навсегда с трудового народа
Омытое кровью железо оков.

Мы в пламени грозном прозрели недаром,
Мы яркие искры бросаем во тьму,
Чтоб мир, озаренный Октябрьским пожаром,
Дорогу нашел к торжеству своему.

Пусть ярче пылает победное пламя
И ширятся песни борьбы и труда,
Зловещие совы своими крылами
Рассветных лучей не затмят никогда.

По пыльным дорогам летят эскадроны,
Напрасно оружием враги нам грозят,
Над нами багряные реют знамена.
Товарищи, к бою! Ни шагу назад!

1929

* * *

Сколько раз повторить твоё имя,
Чтобы где-то, в сумятице дня,
Мне твой след показали бы
или
Ты сама услышала меня?

Есть ли плата такая иль плаха —
Всё отдать или на́ смерть пойти
За одно невозможное благо —
Чтобы наши скрестились пути!

За углом иль на дальней звезде лишь
Взор твой разом пронзит суету?
Или больше вовек не посеешь
Ты цветов
в моем жарком саду?

1929

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР.

Огольки, огоньки...
Из кипящей тьмы
Завиток блеснет золотой...

Тянет, рвет в клочки
Белый плащ зимы
Резкий ветер — проказник злой...

Тишиной объят
На холме крутом
Дремлет город и видит сны...

Санки вниз летят,
Снежный прах — столбом...
Бубенцы далеко слышны.

1930

* * *

Это лето милосердно
В сини
 облачка висят,
И седого полдня сено
Огрести не в силах
 сад.

Но напрасно дождь объявлен
И жара
 не так плоха!
И в зеленом небе яблонь
Яблоки — как облака.

1930

* * *

Полночь досыта звезд половила
И устала от долгой игры,
И печальной луны половина
Прилегла,
на верхушке горы.

Где же блудная бродит планета,
По небесным петляя полям,
Что,
как лунное яблоко это,
Нашу жизнь рассекла пополам?..

На какие вершины ни выйдем —
Ни за далью и ни за горой,
Как вот эта луна,
не увидим
Мы своей половинки второй.

Только вечно мерещится рядом
Та,
что видеть во сне мы вольны,—
Как едва различимое взглядом
Очертание
полной луны...

1930

* * *

Снова в знойном саду моем думы,
Как плоды, созревают слова.
Ждут, чтоб ветер нечаянный дунул,
Ждут — и могут дожждаться едва.

Нет, никак я к тебе не привыкну,
Наших слившихся душ торжество!
О любовь, ты, как соки — травинку,
Наполняешь мое естество.

Ты — как утро, что солнце впустило,
Разгоняя постылую темь.
Ты — как туча, что среди пустыни
Подарила прохладную тень.

Ты — как ночь, что росюю приникла
К бедным веткам в горячем саду.
Ты — как ясная звездная книга,
И по ней я читаю судьбу.

1930

РАССВЕТ

Раскрыв широко веер золотой,
На чистом небе солнце засверкало
И вниз на землю устремило взор.

Пирамидальных кипарисов строй
Оделся кисеею желто-алой,
В садах окрест — дыханье ближних гор.

В такое утро крепнет с миром связь,
Мечтанья молоды, прозрачны снова,
Подобно росам на шелку листка.

И сердце, от забот освобождаясь,
Трепещет вновь и восклицать готово:
«Будь счастлив, человек! Жизнь так сладка!»

1930

ПОХОД В НАУКУ

«Батраки, вчера только пришедшие из кишлака, сегодня решают задачи с иксами и игреками».

(Из выступления одного учителя)

Вы вышли в путь, вчерашние дехкане,
К большим огням, что вспыхнули вокруг,
Штурмуя гордые вершины знаний
И постигая таинства наук.

В былые дни, лепешкой толокняной
Перекусив, вы стерегли гурты
И, не боясь ни ветра, ни тумана,
Пересекали снежные хребты.

Шли на заре с котомкой за плечами
К своей земле, бесплодной и сухой,
Чтоб целый день под знойными лучами
Рыхлить ее корявою сохой.

А осенью, при сборе урожая,
Ростовщики являлись — и без слов,
Старинными долгами угрожая,
До нитки обирали бедняков.

Кораном недовольных усмиряя,
Они народ держали в кабале
И, посулив голодным сладость рая,
Янтарный мед вкушали на земле.

Но срок настал, и кончилось их время,
Мы рассчитались с ними за долги,
И, сбросив с плеч мучительное бремя,
Легко вздохнули наши кишлаки.

Где чахли травы на песках сожженных,
Теперь в садах резвится детвора,
И на полях, водою орошенных,
Работают сегодня трактора.

Вы не забыли, как без приношенья
Учителя вас не пускали в класс,
И даже до таблицы умноженья
Могли дойти немногие из вас.

А нынче, взяв мелок послушный в руки,
Вдыхая аромат цветущих трав,
Вы странствуете по полям науки,
Умело интегралы оседлав.

И край чудес с дерзаньем нашим свыкся
И светлые приносит вам дары,
И в строчках формул маленькие иксы
Вмещают неоглядные миры.

И вещей чисел океан бездонный
Кипит пред вами, тайн глубоких полн,
Но кто сумел постичь его законы,
Тот не боится океанских волн.

Довольно жить обычаем старинным,
Заглядывая в ветхий шариат,
Пусть труден путь к сияющим вершинам,—
Прекрасен он, и нет пути назад!

Смелей, друзья! Берите факел в руки
И, верные призванью своему,
Неугасимым пламенем науки
Уничтожайте вековую тьму.

Родимый край все краше год от года,
Все доблестнее трудится народ.
На новостройки, шахты и заводы
Вся Родина Советская зовет.

К заветной цели Партией ведомы,
Вы вышли в путь, чтоб строить и творить,—
Учителя, врачи и агрономы,
Как много дел дано вам совершить!

Пусть вам помогут одолеть стихии,
Осуществить великие права

Идеи Маркса, вечно молодые,
И Ленина бессмертные слова;

Пусть правда торжествует на планете
И крепнет мир, свободный от оков,—
Ведь для того вы и учились, дети
Далеких гор и вольных кишлаков!

1931

* * *

Стих ветер;
Звук шагов негромок;
В саду становится светлей.
Луны нечаянный обломок
Плывет, качаясь, меж ветвей.
Как платья, пали тени с веток.

Всё кругло; в мире — ни угла.
И ткань медлительного света,
Как шелк, предметы облекла.
Мир шире стал раз в десять,

Во сто!
Земля — как воск.
Вода — как мед.
И звезд рассеянное войско
Арыки переходит вброд.

И времени исчезли чары,
И так мне просто и светло,
Как будто будет всё сначала,
Что было
или быть могло.

1931

ДЕТЯМ РАБОЧЕГО ГОРОДКА

I

В глазах у нас горела радость, помню,
Когда собак гоняли вдоль реки.
Бывало, злость вставала тучей темной,
Шли в ход тогда ребячьи кулаки.

Лежала жизнь прибитою змеею
Вдоль улиц — узких, как змеиный след.
И пыль пустынь вставала над землею...
Шла мимо радость, мимо падал свет.

Сквозь волны ночи, темной и дремучей,
Дрожал фонарь с надтреснутым стеклом,
О пляске джинов над навозной кучей
Судачили старухи вечерком.

Хауза лед был нашим детским парком.
Снежки в руках — две вражьи стороны
Сойдутся, и от снега станет жарко,
Огонь горит в глазенках озорных.

И с крыш соседа голуби взлетели,
Чтоб в облаках крутиться без конца.
И колет грудь, как будто нам вонзились
Их перышки пушистые в сердца.

Дорога в школу приносила муки,
Казалось нам, — нет тяжелей пути.
Халфа ловил нас, и крутили руки
Тому, кто в школу не хотел идти.

II

Теперь в домах основу золотую
Соткало солнце. Дышится легко!
Сплелись цветы, стоят сады, волнуясь!
Под ласковым весенним ветерком.

Нокоем дышат тополей вершины.
А вечером огней зажжется свет —
Все кажется волшебною картиной.
Я слышу — радио включил сосед...

И площадь — как расцвеченная чаша.
Все изменилось — игры у ребят
И даже имена. А взгляды ваши
Живые — мысль глубокую таят.

Не хафтияк — учебник в вашем ранце.
Система солнца и вселенной круг
Изучены. Коротких нет дистанций —
Вы рветесь ввысь, к вершинам всех наук.

Вы — из «простых», но ваши братья сели
На университетскую скамью.
То — логика эпохи. В самом деле,
Вы жизнь большую строите свою.

Вам не от деда эта жизнь в наследство
Досталась. Это — дар моей страны.
Я радуюсь, что вижу ваше детство.
Вы — поколение солнца и весны!

1934

УЗБЕКИСТАН

То край, где золото растет в полях,
Где гладит зиму ветерок весенний;
То край, где солнце, только отпылав,
Готово снова справить новоселье,
Где правит всеми

сил и счастья сплав!

Твердили нам: «Душа его больна»,
Да он и сам почти поверил в это ж!
Но ложь легенд, раскрытую сполна,
И философий горьких имена
Сжег наш Восток...

Сгорела эта ветошь!

Взгляните же на волны ясных дней!
Всей новизны — и захоти, не скроешь.
Труд пробудил страну, и перед ней
Открыли недра блеск своих сокровищ.
Открылся путь,

всех выше и верней!

Как ртуть термометра, расплавлен стан,
И путы сна разбил могучий молот.
Где край еще, чтоб так же вырастал?..
История сама нам это молвит
И слово славы ставит по местам.

А ход машин на поле деловит,
Целует хлопок дали горизонта.
Старик джигитом кажется на вид —
В путь с молнией отважится джигит!..
И жар в глазах — трудом свободным создан.
Скелеты-дни, чей саван — нищета,
Не явят вновь

могильного оскала.

Чорака ночи, нищих слез тщета...

Пуста, как дым, бессилия мечта.

Плеть

из плечей огня не высекала.

А мысль

из худжры вышла в ширь наук.

Чабан вчерашний — числит электроны.

И девушки сидят рядами ровно

На лекциях,

поднявши кос короны...

Кому бы это встарь пришло на ум?

Сложили мы прекраснейший дастан —

Он взял напев из музыки грядущей,

Ритм — из труда,

из сердца — мощь достал...

Хоть целиком — не спеть его устам,

Но весь, как есть, вошел он в наши души.

Его название — Узбекистан!

1934

НА ПОЛЕВОЙ ДОРОГЕ

С двух сторон море хлопка волнуется, летя,
Разграничив дороги зеленой каймой,
Звонок радостный бег моего иноходца,
Тонет в хлопковом море горизонт голубой.

Два джигита на велосипедах промчались —
Серп за поясом, острый кетмень на плече.
Вон девчата в тени у газеты собрались,
Сели рядом, укрывшись от жгучих лучей.

В жарком воздухе песня летит молодая,
Всюду — труд, всюду жар полыхает работ.
Люди хлопок растят — поля расцветают:
То прекрасная жизнь над землею встает.

Старики собирают огромные дыни:
«Нынче праздник у нас! Оставайся, сынок!»
А по пыльной дороге везут на машине
Хандаляки пахучие в наш городок.

И улыбки людей говорят мне о многом.
И у каждого дело кипит под рукой.
Сколько б мне ни ходить вот по этим дорогам,
Вечно петь будет сердце, забывая покой.

1935

* * *

Сгорает лето. Зной пошел на спад.
На пальцах подсчитали счетоводы
И объявили: «Асад — нарасад»,
Туманное такое время года.

Птиц больше нет. И ни к чему стучать
В дырявое ведро, чтоб разгонять их стаи.
Октябрь, наложив на все печать,
Бредет, чуть слышно по листве ступая.

1935

ИЗБАВЛЕНИЕ

1: Весной

Весенний предрассветный ветерок
Пригрел поля живительным дыханьем...
Едва вдали порозовел восток,
К участку своему ушел дехканин,
А вслед за ним поплелся сквозь туман
Детишек голых длинный караван.

Его участок — с детскую ладошку,
Что говорить — он вовсе не богат;
И тощий вол, передохнув немножко,
Уныло тянет за собой омач.
Трудна работа. Дети отощали.
И очи выел горький дым печали.

И от забот кружится голова,
Им счету нет — попробуй их исчисли!
И целый день стучат, как жернова,
Тяжелые, нерадостные мысли,—
Голодному и думать нелегко.
Земля черства, а небо далеко.

От слез горючих проросли до срока
Все семена, что в долг взяла жена.
Не жди от них особенного прока:
Долги растут быстрее, чем семена.
И поле, оскудевшее водою,
Грозит опять голодную бедою...

Вода! Она волнует, как мираж,
Как девушка любимая, тревожит;
Ты за нее последний грош отдашь,
И, может быть, она тебе поможет,
А может, унесет в пустынный край
Надежду на хороший урожай.

Она, журча, пьянит и нежит всходы
На неоглядных землях богачей,
И солнце пьет сверкающую воду,
Расцветенную золотом лучей.
Прозрачная, живая, голубая —
Она зажата в цепких лапах бая.

2. На хирмане

Проходят дни — не прибыло воды,
И, орошенные ручьями пота,
Созрели зерна — скудные плоды
Тяжелой, изнурительной работы.
Но прежде чем наполнились мешки,
Со всех сторон пришли ростовщики.

Сверкая ненасытными глазами,
Как злые волки, собрались они,
Они кричат: «Расплачивайся с нами,
Долги свои немедленно верни!
Мы денег ждем, а если денег нету,
Твое зерно мы превратим в монету!»

И белой тучею на урожай
Уже надвинулась чалма имама,
И толстопузый, краснощекий бай
Уж тут как тут, капсана ждет упрямо.
Ты поскорей мешки ему готовь,—
Ведь он, как клещ, высасывает кровь.

Зима загнала в жалкую лачугу
Дехканина. Невесело ему:
Пустой живот перепоясан туго,
Унылый вздох летит в ночную тьму;
Рассыпались, как ветхая одежда,
Его мечты и робкая надежда.

Чем до весны семью прокормит он?
И, как ни изворачивайся, снова
Одна дорога — к баю на поклон.
Одна дорога. Выхода другого
Не видит он. Тяжка судьба баба,
И ждет детей такая же судьба...

3: Избавление

Нет, слишком много горя накопело;
Всему свой срок,— и, гнета не стерпев,¹
Бедняк берется за оружие смело,
И разряжается народный гнев,
Что исподволь сгущался черной тучей,
Ударом грома, молнией летучей!

Клинок и палка, камень и топор —
Всё пригодится; ширится восстанье,
Оно выносит смертный приговор
Кровавым баям,— нет им оправданья:
За море слез, за вековое зло
Суровое возмездие пришло.

Мятежный клич вздымая к небосводу,
Неудержимо, словно ураган,
Ты поднялся, дехканин, за свободу,—
Долой несправедливость и обман!
Пусть даже горы встанут пред тобою,
Ты справишься с преградой любою.

Пусть весь твой ужин — горстка толочна,
Приправленного мутною водою,
Пусть труден путь и ночь темным-темна,¹
Товарищи твои всегда с тобою.
Расправой угнетателям грозя,
Шли за тобой восставшие друзья.

Ты превозмог лишения и голод,
Рабочий класс помог тебе в бою,
И с этих пор скрещенный серп и молот
С его судьбой соединил твою.
Стальная, несгибаемая сила —
Вас воедино Партия сплотила!

Рассветными лучами озарен,
Исполненный особого значенья,
В цветенье трав и шелесте знамен
Пришел желанный день освобожденья,
Пришел затем, чтоб сгинула нужда,
Чтоб спину разогнул ты навсегда.

Ты трудишься, забыв, как все дехкане,
Про тяжкие обиды и долги.

Спокоен ты: твоих завоеваний,
Весны твоей не отберут враги,
И никогда не возвратится снова
Зловещий сумрак рабства векового.

В домах просторных яркий свет горит,
И жизнь вокруг всё краше и чудесней,
И радость лучезарная парит
Над кишлаком ширококрылой песней,
И в школу новую спешит с утра
Веселая, живая детвора.

Колхозный труд, счастливый и свободный,
Принес богатство в твой цветущий край,
И каждый год на ниве плодородной
Обильный созревает урожай,
А там, где раньше чах кустарник дикий,
Теперь шумят веселые арыки.

Прошли года, твой сын не стал рабом.
Он ничего на свете не боится;
Легко и смело в небе голубом
Он управляет краснозвездной птицей.
К вершинам знания путь тяжел и крут,
Но дочь твоя кончает институт.

На много верст вокруг благоухает
Водою напоенная земля,
Шумят комбайны, хлопок убирая,
И трактора выходят на поля,
И взрослые рассказывают детям,
Как прежде полз омач по землям этим.

Так оглянись же с гордостью, мой друг,
И в переливах солнечного света
Увидишь ты, как далеко вокруг
Цветет земля, лучистым днем согрета,—
Родные дали, вольные края,
Твоя отчизна, родина твоя!

1935

ПРОМЕТЕЙ

Нет, не сердце, а светоч великой любви
Разгорается, дух твой, как море, кипит.
Мысль на гордом челе, непокорство в крови,
Не изгладит их время, не испепелит.

Пламенеющий факел во имя людей,
Вызывая звериную злобу богов,
Выше солнца вознес ты десницей своей,
И сияет твой подвиг во веки веков.

Против неба ты первым, батыр, поднялся,
Выбил первую молнию в тьме мировой.
Содрогнулись от гнева тогда небеса
Над твоей несклоняющейся головой.

Твою грудь сто железных опутали змей,
Приковали тебя к недоступной скале.
Но не властен никто над любовью твоей,
Ты один против неба на голой земле.

Твою печень терзать прилетает орел,
Твои муки — призыв к беззаветной борьбе...
Ты зарей огневеющей в вечность вошел,
Ненавистная тьма покорилась тебе.

Пахлаван дерзновенный, восставший батыр!
Нет любви непреклонней, поступка смелей:
Ты спустился с Олимпа в юдольный наш мир,
Выдал тайны богов ради счастья людей.

Твоя гордость расправила крылья, и вот
Цепи рабства, позорные, пали звеня.
Сокрушая слепого бесправия гнет,
Смелой мысли и воли ты вывел коня.

О могучее сердце, твой свет не потух,
А, пройдя сквозь века, еще ярче во мгле,
Твой струится по жилам истории дух,
Заставляя дрожать всех владык на земле!

Богоборец, ты тучи рассеял для нас,
Дал прорваться потоку весенних лучей.
О, какую мы черпаем силу подчас
В золотом этом опыте древних ночей!

Океанские волны эпох и времен
Омывают, ласкаясь, подошвы твои.
Ты идешь к нам, и выше небес вознесен
Пламенеющий факел борьбы и любви.

1936

ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА

В лиловом сумраке, когда
Прохлада гор ласкает нас,
Восходишь ты, моя звезда,
Сверкая в небе, как алмаз.

Звезда далекая моя,
Вечерней негою томим,
Как глубоко проникся я
Очарованием твоим!

Давным-давно твой ясный свет
Струился в колыбель ко мне
И, словно верный амулет,
Оберегал меня во сне.

По вечерам не знала мать,
С кем пропадаю я и где,
А я бежал тебя искать
В озерной голубой воде.

Когда парил над головой
Мой змей до самой темноты,
Ему навстречу луч живой
Сквозь тучи посылала ты,

А если на густых ветвях
Вдруг повисал бумажный змей,
Сверкала ты в моих глазах,
В слезе мальчишеской моей...

Моя прекрасная звезда,
Ты помнишь сад, сроднивший нас?
Я приходил к тебе сюда
Стихи слагать в вечерний час;

И строчка каждая звала
Меня в неведомую даль,
И в строчках ласковых жила
Твоя волшебная печаль.

Мне не забыть, как много дней
И много лет тому назад
Я с милой встретился своей,
Как нас укрыл притихший сад.

И, ярче пышного венца
Сверкнув в безмолвии ночном,
Соединила ты сердца
Своим серебряным лучом.

И пусть с тех пор года прошли,—
Я так же радуюсь, когда
Ты зажигаешься вдали,
Моя вечерняя звезда.

И я без устали готов
Тебя влюбленно воспевать,
Но не могу найти я слов,
Что красоте твоей под стать!

1936

* * *

В лучах заката образ твой плывет,
Свою прозрачность утеряли дали.
Закат вот-вот погаснет в свой черед,
И вечер поглотит зеркало вод.

Брожу просторами былой мечты.
Надежд разбилась чаша золотая,
И звон, дрожа, звучит из пустоты,
Измученную душу надрывая.

Иду, пытаюсь позабыть былое,
И след мой поглощен вечерней мглой.

1936

* * *

Мир распахнут перед тобой:
От прозрачной речной воды
До блестящей ночной звезды
Долетаешь ты, ветер мой.

Ты уносишься с ветки арчи
В бесконечно далекий простор.
Заведи ты со мной разговор,
Расскажи мне о грезах гор,
Задремавших в лунной ночи.

Ты мне сказки поведай свои,
Успокой меня, благослови,
Пожелай мне хорошего дня,
Пожелай мне счастливой любви!

1936

* * *

Как вечный отголосок,
Как жизнь, течет вода,
И сон на белых косах
Не стынет никогда.

Она поет не даром
Века веков подряд.
Здесь под ее ударом
И камни говорят.

Она с веселым звоном
Свергается с горы
И вдаль, полям зеленым,
Несет свои дары.

Сверканьем залитая,
Спешит она вперед,
И солнца золотая
Тарелка в ней плывет.

К журчанью струй веселых
Я наклоняюсь вдруг,
Чтоб этот звонкий холод
Испить из чаши рук.

1936

* * *

Смотрю ли с вершины на синий простор,
Спускаюсь ли к речке, зажатой меж гор,
Лежу ли, задумавшись, у родника,—
Всё радуется нынче мне душу и взор.

Кипят серебристые струи ключа
Печально и сладостно, тихо журча,
И — яркая россыпь — жемчужины света
Бегут по траве, и трава горяча.

И дружная радость наполнила день:
Прильнули к вершине горы облака,
И дружно со светом сплетается тень,
Забора легка, и печаль далека.

И вот в дальней юрте запел патефон
О том, как прекрасно на свете мне жить,
О том, как прекрасно, когда ты влюблен,—
И в золоте воздуха звонкая нить
Поет, не смолкая, звенит и звенит,
И грудь уж не в силах мечтаний вместить!

1936

* * *

Счастьем сердце до краев полно,
В чем причина — я не понимаю.
В небе звезд — несчетное зерно,
Ночь меня ласкает, обнимая.

Сном объаты птицы и кусты.
Ветер гладит мне лицо украдкой.
Лунный свет струится с высоты.
Сонная листва лепечет сладко.

Нежность к миру, к людям — как весна,
Расцвела в душе моей лучисто...
Чаша счастья до краев полна!
Звездный свет струится золотисто.

1936

НАМАТАК

Чудно качается куст наматака
Там, наверху, в ветровой колыбели,
Солнцу — корзина цветов белоснежных,
Гордо над краем утесистой щели
Чудно качается куст наматака...

Мне не насытиться пляской той нежной,
Черные камни и те посветлели,
А на лице его пляшет улыбка,
А на щеках поцелуи зардели:
Солнцу — корзина цветов белоснежных.

Плачет у ног его снег серебром,
Чудно качается куст наматака.
Ветер швыряет мне жемчуг ручья,
Чудно кивает мне в скалах из мрака
Звездных цветов белизна над ручьем.

В воздухе гор, в тьме утесов кромешных,
Спутав побег, цветами сияя,
Пляшет создание скал одичавших —
Куст наматака, как пьяный, вздымая
К солнцу — корзину цветов белоснежных.

1936

ОДНОДНЕВНАЯ ПРОГУЛКА

Я шел через холмы,
И скалы, и овраги,
И луг,
 как похвалы,
Выпрашивавший влаги.

Я видел родники,
Что тихо строки шепчут,
И звонкий смех реки,
Сверкающей, как жемчуг.

О, край камней и вод!..
В своих нарядах скромных
Заводят хоровод
Арчи на строгих склонах,

Вокруг тяжелых скал,
Осевших по-слоновьи,
Где за полдень я спал
В легчайшем хвойном зное...

Про дальний звон ключа
Чуть слышно ветви пели.
Баюкала арча,
Как ласковая перн.

И солнце, глядя вниз,
Сквозь хвойные оконца,
Мне оставляло в них
Сверкающие кольца.

Проснулся: никого!
И снова в путь...
 Арча мне
Тяжелым рукавом
Махнула на прощанье.

И, словно бы во сне,
Что больше не приснится,
Заплакала вослед
Невидимая птица.

О, край камней и вод!
О, мир высокой прозы!
Здесь дух вольней живет,
И запахи, и росы.

И, в рифме не силен,
Выкладывает сразу
Веселый василек
Приветственную фразу.

И вдруг, идя сквозь тишь,
Ты в холодке внезапном
Ноздрями ощутишь
Блаженный снега запах...

О, бедный синий снег!
Как скромно он поселен —
Пока зимы здесь нет —
В глухой тени расселин...

...Извилистей тропа,
Коварнее и круче.
И с каменного лба —
Клок облака летучий.

На пики гор надет
Лазурный свод небесный,
Скала, как черный дэв,
Спускает ноги в бездну...

Но — кончился подъем!
(Наверное, решили
Оставить нас вдвоем —
Поэта и вершину).

Какой отсюда вид!
Какое море блеска!
Колышется, блестит
Прозрачная завеса.

Дыханье высоты
Прохладней и короче.
У ног моих цветы —
Как смятые короны...

Но — поздно!

Вниз...

и вот

Опять навстречу лето,
И спуск — наоборот
Запущенная лента.

Когда ж совсем невмочь
Тащить себя, как ношу, —
Меня встречают ночь
И люди
у подножья.

1936



Как черный бархат в блестках золотых
Струится ночь — тепла и благовонна.
Примолкло все. Во мраке лишь арык,
Играя струйками, лепечет сонно.

Цветы уснули, дрема гладит их,
А ветер мне нашептывает властно:
«Нет, не придет она. Забудь тот миг!
Не беспокойся зря! Не жди напрасно».

Я не тоскую. Не велю: «Приснись!»
Все чувства черным бархатом одеты,
Не слезы — звезды капают с ресниц...
Благоуханное прекрасно лето.

1936

* * *

Горят в ночи, как жемчуга,
Звезд неоглядные дуга;
Река струится в тишине,
И волны бьются в полусне
О берега, о берега...

И непоседа вестерок
Устал и чуточку продрог;
Ему теперь не до забав,—
Гнездо пустое отыскав,
Он спит, забравшись в уголок.

А ночь не спит. Она поет,
Она в бессмертие плывет,
И ты поверь ее огням,—
Они предсказывают нам
Счастливым солнечный восход!

1936

ПРОЩАНИЕ

Прощай, прощай, Чимган родной,
Где я с весельем говорил;
Тебе я сердце подарил,
Дни шли, как сказочной страной!

Дни шли, и жизнь была легка,—
Цветы и в сердце и вокруг,
И памяти зеленый луг
Не знает мертвого листка.

Трава по грудь стояла здесь,
Когда я прибыл в край зарниц,
А праздник бабочек и птиц —
Он мог ли гостю надоест?

Я пил кумыс, оставив стих,
Лежал на теплых отмелях,
И птицы, душу веселя,
Мне пели гимн сердец своих.

Как жидкий жемчуг — предо мной
Волна, как песня парусов,
Был полон воздух голосов,
Звеневших радостью земной.

Лез на Чимгана крутизну,
Был страх и радость — тот поход.
Пил мед цветов, ступал на лед,
Уйдя душою в новизну.

Как звон бокала о бокал,
Звенели мне минуты те,
Когда на дикой высоте
Я выси взглядом обегал.

В полях шли тени, в тишь маля,
Вдали на скалах, под рукой,
Казалось, исчезал покой,
Сгорев в лучах палящих дня.

Гулял я, одинокий, в ночи,
И тайный голос ветерков
Тут приходил ко мне с лугов,
С вершин, из зарослей арчи.

В боярышнике, как из сна,
Вставала мне подругой вдруг
И шла, воспламенив весь луг,
Как опьяненная, луна.

Я в том негнущем огне
Дышал полночной красотой,
В шелках прохладных ночи той
Живые краски пели мне.

Свет золотой то шел, струясь,
Ущельной черной тьмой до дна,
То света теплая волна
Текла, среди дальних гор дымясь.

Червонный, в свете багреца,
Здесь плыл деревьев караван,
Ткут соловьи тут свой диван,
Диван, в котором нет конца.

Ручей, и роща, и огни,
Семь юрт там войлочных больших,
Семь тусклых ламп горят в тиши,—
О, как пленительны они!

Коль буря ночью заревет,
Поток сверкнет, сшибая с ног.
Подушки — чуть не за порог,
И одеяла — чуть не влёт...

Я молний ярому броску
Дивился, радостью сожжен,
И слушал рощи тяжкий стон,
Впивая сладкую тоску.

Всю ночь в работу погружен.
Лишь неба желтые цветы,
Смеясь, сгорали,— с высоты
Нес ветерок мне тихий сон.

И ночь. И Пушкин, И юрта...
Всю ночь с любовью я вкушал
Всё, чем жила его душа,—
Как жизнь проста и непроста.

Он мне по милости своей
И сердца свет и свет ума —
Как бы поэзия сама —
Дарил, как песню новых дней.

Прощай, Чимган, и гор гряда,
И сад — поэзии ключи.
Вот здесь-то Пушкина и чтить!
Чимган, ты в сердце навсегда!

1936

ПУШКИН

На золоте резцом начертана строка,
В ней мысль — свежа, ясна, и образ — дивно-точен.
За веком канул век. Пройдут еще века,
Твой памятник, поэт, пребудет столь же прочен!

Да, время жадное, стирая камни в пыль,
В твоих стихах ни искры не потушит.
На родине твоей, где сказкой стала быть,
Их свято сохранят все любящие души.

На высоте высот — стихов твоих исток,
В долину он бежит, не замуťась нимало.
Он в наших днях звучит — родник бессмертных
стирок, —
Поэзии твоей могучее начало.

О, Пушкин! Боль твоя — как молнии зигзаг,
Мелодии твоих напевов — бесконечны.
Как шумный летний дождь, они дают нам знак
О вечности... Живет любой цветник сердечный.

Открытиям твоим, — о, Пушкин! — нет конца.
Зима с тобой дружна, тебе послушно лето.
И ночь завидует созвездиям венца,
Украшившего голову поэта.

Что по сравненью с ним властителей земных
Случайная, непрочная корона?!
Был неподвластен злу твой окрыленный стих,
Свободу воспевавший неуклонно.

Враги на жизнь твою все нагнетали тьму,
Стараясь, чтоб беда в пути настигла,
Преграды ставили свободному уму,
Втыкали в грудь тебе отравленные иглы.

Но, вопреки им всем, твой стих упрямо цвел
И наполнял сердца дыханием весенним.
Он по стране шагал, вдоль городов и сел,
И приобщал людей к высоким вдохновеньям.

Бессмертный дивный стих!.. Он все в себя вобрал,—
Подслушал жизнь земли во всем великолепье —
В нем буйствует пожар, гремит девятый вал,
В нем — ветер, что гудел над бессарабской степью!..

Он время победил. Он побеждает страх...
И в наши дни гудит все также величаво.
О, Пушкин!.. Ты звучишь на стольких языках,
И все растет твоя блистающая слава!

1936

МАШРАБ

Не волосы — космы. Глаза как кометы,
Сверкают неистовством жаркого света.
Лицо его — пашня, где холод и зной
Оставили след свой, прошли бороздой.
Жар сердца и саз — всё богатство поэта.

Всё в нем поражает: сверкание глаз,
Волос ореол, гневной речи экстаз,
Халат (или то, что звалось когда-то
Халатом, — рваньё, на заплате заплате),
За поясом тыквянка, в тыквянке — нас.

Вот вихрем, подобно джейрановой тени,
Он мчится в пустыне и ни на мгновенье
Не станет, не сдастся — мрак, яростный гром,
Песок и колючки ему нипочем:
Полутчиком служит ему вдохновенье.

Из горсти он выпьет вино родника,
Постель — из камней, но зато широка.
В огне его глаз голубую слезою
Расплавилось небо, горит бирюзою.
Пред взором души — вешний луг и река.

Все ждут песнопевца и в стужу и в зной,
Молва о нем катится бурной волной,
Глядят в чайханах и в курильнях с порога
Старик и юнец — не пылит ли дорога?
«Какой он? Кто видел?» — звучит вперебой.

И вот он пришел. Как повсюду на свете,
Бегут за пришельцем веселые дети.
Во взорах улыбки, но в них и любовь:
«Иным каждый раз он приходит к нам вновь!»
— «Таких чудаков не видали столетья!»

Богач ему дал золотой. Но поэт
Швыряет о камни монету: «Э, нет,
Мы, дервиши, к звону презренному глухи,
На сладость такую садятся лишь мухи,
А мир — волшебство и без этих монет!»

Мальчишке сказал он: «Костер разведи-ка!»
С огнем обходиться он мастер великий.
С любовью катает поэт угольки
На черной ладони костлявой руки —
Он видит в них солнца горящие блики.

И вот раскурил он огромный чилим,
Высокое пламя взметнулось над ним,
Кулаха не видно за облаком дыма,
И кто-то руками развел: «Одержимый!»
Другой ему вторит: «Мы этак сгорим!»

Чилим уступил свою очередь сазу —
И льются газели, и тянутся сказы.
Они говорят о знакомом, родном —
И люди сгрудились, сомкнулись кольцом,
Сердца полыхают, занявшись все сразу.

Казах, на верблюде примчавшийся вскачь,
Согбенный дехканин, ремесленник, ткач —
Все властью могучего очарования
Захвачены, стихли, и в стены молчанья
Врывается пламенный песенный плач.

Скиталец не знает приюта и крова,
На камни потник — вот и ложе готово.
Поет он — порой посмеется народ,
Порою вздыхает: народу несет
Печаль и веселье — крылатое слово.

Меч логики рубит сплетения зла.
Боятся его мударрис и мулла.
Он гордый — ему ль перед сильным склониться?
И мысль озаряет внезапной зарницей
Дорогу скитальца, мечты и дела.

Что вера святоши, мораль показная?
Смердящая вязкая топь, загнивая,
Певца засосать не смогла. И народ

Увидел, что прав он, горшок нечистот
Над белой чалмою ходжи выливая.

Всю жизнь избегает он пышных хором,
Дочь хана не холит он в сердце своем,
Средь знати придворной не ищет он друга,
Певцу всеми красками светит лачуга,
Он солнце находит и над кабаком.

.

Так жил он. И люди в аулах согреты,
Как солнцем, сказаньем, исполненным света,—
Легендой из тысячи ярких кусков.
И там, где прошел он, как горы цветов,
Сверкают бессмертные песни поэта.

1937.

* * *

И взоры, и душа к тебе устремлены.
Смотрю с тоскою вдаль, ты — там, в туманной дали,
Не для меня сейчас все прелести весны,
Не утолят они моей печали.

Тоскую о тебе... Когда вернешься ты?..
Скорее одолей преграду перевала,
Чтоб снова расцвели и для меня цветы...
Так больно о тебе душа затосковала!

1942

ТВОЯ РАДОСТЬ

Вечер душный, усталый на отдых залег,
Гаснут на небе огненных маков луга.
Ужин варится, рдеет в золе уголек,
Мать-старуха на корточках у очага.

А над ней, на жердях, тяжелы и плотны,
Темно-красного яхонта гроздь висят.
И, чего-то ища, горячи и жадны,
Ветерки виноградной листвою шелестят.

Пятерых молодцов, одного за другим,
У нее отняла, оторвала война.
И тоскует она по своим дорогим,
Видеть их — нестерпимым желаньем полна.

Голоса их в ушах не смолкают у ней,
Их дыханье горячее бьет ей в лицо.
Всё ей чудится: будто — шаги сыновей,
Будто звякнуло старой калитки кольцо...

Вот развязывает она кончик платка,
От меньшого письмо полустертое в нем,
Эти буквы писала родная рука,—
Слезы вновь подступают ей к горлу комком...

Призрак сына, кивнув, удаляется прочь.
Пригорел ее ужин, и выстыл очаг.
Краски вечера черным замазала ночь.
Хмурясь, в мрак она смотрит до боли в очах.

У ограды колышутся пять тополей,
Пять друзей, шелестящих, веселых, живых.
И целует им ветви и блещет теплей
Золотая звезда между листьями их.

Мать вздыхает. Она одинока опять.
Тихо шепчутся пять тополей и звезда:
«Слез не лей, будь тверда в испытаниях, мать!
Счастье в дом твой вернется, придет навсегда!

Снова даль бирюзовая, песней звеня,
Отзовется — окликнешь, махнешь ли рукой,—
Непомерною радостью сердце тесня,
Засмеется земля, только ступишь ногой,^{1,5}

По садам, по дворам будут рыскать ветра,
Как гонцы, застучат у дверей матерей.
Не закончив уроки, из школ детвора
Пронесется гурьбой по домам поскорей.

День великий придет, день счастливой судьбы —
Ты обнимешь своих пятерых сыновей,
Грозным жаром войны опаленные лбы
Будешь ласково гладить рукою своей.

И как будто бы солнце ворвется в сердца,
И, смеясь и от радости слез не тая,
Ты увидишь — как даль без границ и конца,
Засияет прекрасная старость твоя!»

1942

* * *

Лей, дождь осенний! Непрерывно лей,
На лире траурной своей играя!
Жизнь такова: на радости скупая,
Она — источник боли и скорбей.

С моей землей, о дождь! — дели судьбу.
Другой мне музыки теперь не надо!
И да прольется, дождь, твоя прохлада
По моему пылающему лбу.

В нем — боль и муки Родины моей,
Все гибели, все тяжкие невзгоды...
На горькие страдания народа
Свою прохладу, добрый дождь, пролей!

1942



Тихонько по дорожке я бреду,
Осенними раздумьями влеком.
Поблекли краски яркие в саду,
Но все же я люблюсь цветником.

Неспешна дней осенних череда,
Ложится осень в травы на ночлег.
Блестя, как шелк, осенняя вода
Остановила свой игривый бег.

1942

ПРАЗДНИК СЛАВЫ

На кукурузном поле скрип колесный.
Сияют дали в утреннем дыму,—
Там плещет Зеравшан золотоносный,
Там льется легендарная Аму...
И дядя с костылем сидит усатый,—
И слушают его рассказ ребята.

На широко раскинутых хирманах
Белеет хлопок, словно облака.
Кипят работы на полях туманных,
Не молкнет песен радостных река.
Народ родной, народ многоязыкий
Встречает мирно праздник свой великий.

Октябрь — заветный день родной земли!
С тобою — в славе, мужестве и силе —
Мы солнце мира в битвах сберегли,
Под знаменем твоим мы победили!

От сталинградских грозных берегов
До Эльбы вражьей орды мы прогнали.
Мы растоптали полчища врагов,
Честь и свободу нашу отстаивали.

Победы слава нас ведет вперед.
Страна моя! Цвети пышней и краше!
Возьми, испей до дна, родной народ,
Победы златокваную чашу!

1945

ПРЕДСЕДАТЕЛЬНИЦА

В жару дымятся заросли джиды,
Как будто серебром сады закапали...
За садом — сад, обходишь все сады,
Потом идешь полями, с поля на поле.

На гордой голове — веноч волос,
А сапоги солдатские, кирзовые, —
Мужчиной стать тебе в тот год пришлось,
Самой войною ты мобилизована!

Еще дрожит прощальная слеза,
Дымки за эшелоном не растаяли...
А уж соседи голосуют «за».
Ты возражала — на своем поставили!

И вот уже ни отдыха, ни сна.
Всегда на людях, дорожа минутою,
Ты летом в пекле, в поле дотемна,
Зимой каналы роешь в стужу лютую.

Ты раньше и не ездила верхом,
Но всюду надо поспевать! И с ходу
Пришпорив лошадь, скачешь напрямиком
Через весеннюю шальную воду.

В предгорьях — хлеб. На пастбищах — стада...
В долинах — хлопок. Верно, никогда ты
Не отдохнешь, пока твоя страда —
Одеть, обусть и накормить солдата,

Исправить трактор, подковать коня, —
Нет той заботы, чтоб тебя минула,
И ко всему вдобавок нету дня,
Чтоб в чей-то дом беда не заглянула.

В душе — своя тревога под замком,
Но с ней ты лишь заботливее вдвое.
Ты для сирот заводишь детский дом,
Всю ночь бесстрашно говоришь с вдовою.

Всегда точна, словам своим верна,
Гневна бываешь, озорна бываешь,
С презрением обрываешь болтуна
И первой песню в поле затеваешь.

Но вот, казалось бы, всюю запеть!
По радио грохочет День Победы!
Так что же ты рыдаешь? Всё стерпеть,
Всё вынести — все трудности, все беды.

И вдруг последней в целом кишлаке,
Пройдя весь путь, весь непомерно длинный,
Сжать в это утро в ледяной руке
То черное письмо из-под Берлина!

К тебе он не вернется никогда...
Рыдания молча в горле застревают...
Подходит осень, та пора, когда
Бессонный труд, как выручка, бывает.

Плывут на ЗИЛах хлопка облака.
Над ним — чужая глина под Берлином...
По-прежнему тверда твоя рука,
Всё та же строгость в облике орлином.

Живешь трудом, заботами, борьбой,
И лишь порою, в нестерпимом горе,
Коня седлаешь. Молча скачешь в горы,
Одна. Никто не едет за тобой...

1946

В МАВЗОЛЕЕ ЛЕНИНА

Не оскудеет родник вдохновенный,
Жизни и силы высокий исток,
Тот,
 что борьбой — и прозреньем мгновением
Он из истории гневной исторг.

Вот он лежит здесь, смежив свои очи,
Мыслью
 оставшийся в наших умах.
И от пылинки до судеб всеобщих —
Этой пылающей мысли размах.

Руки сложил на груди недвижимо,
До осиянных вершин не дойдя...
Но продолжается неудержимо
Наше движенье по зову вождя.

Залы безмолвны и мраморны своды.
Вот он лежит на груди тишины —
И остается душою народа,
Сердцем неистовым
 гордой страны!

Кто восстановит живое обличье,
Жаркого,
 жесткого жеста права?
Как отыскать нам слова для величья,
Что превосходит любые слова?..

Жизни законы вернувший из плена
Лжи стовековой,
 корысти,

 вреда —
Молот и серп он избрал как эмблему,
Освобожденного счастья труда!

Небо

весенним заполнивши громом,
Чтоб молодела и пела земля,
К каждому в дом в этом мире огромном
Он приходил
сквозь ворота Кремля.

Бури раскат среди ветреной хмури
Новую эру означил навек,
И отозвалось на дальнем Амуре,
Что прогремело на гордой Неве.

Словно прихлынувший с кручи высокой
Воздух весенний,

который мы пьем,—
Он заглянул за чачваны Востока,
Чтобы покончить с позорным тряпьем.
Нищие боги и злые законы
Прахом рассыпались, жалкой тщетой;
Нет нам отныне родней и знакомей
Ленинской мудрости, правды простой!

Он появился — и с этого мига
Люд подневольный почуял в себе
Мощь,

что красу континентов воздвигла,
Трепет свободы и волю к борьбе.

А паразитам, напившимся крови,
Видящим вещи иначе, чем мы,
Ленина имя — в запале злословья —
Смерти страшнее, опасней чумы!..

Пусть эти глотки охрипнут от крика —
Ленин бессмертен во веки веков!
Суть и душа твоя

в завтра открыта,
Вождь гениальный большевиков!

Впитанный партией, разум твой — с нами.
Правда в сознание и пламя в крови,
Имя на знамени — имя как знамя!..
Вновь мы в походе,
и ты — впереди.

1948

ВЕЩАЯ ЛИРА

Поэзии солнцем назвали певца:
Как солнце, он щедро льет свет с вышины,
Лучами его осиянны сердца,
Созвучья дыханьем весенним полны.

Поборник святых человеческих прав,
Он смелого разума пел торжество.
Дрожал венценосный тиран, услышав
Бесстрашную, гордую лиру его.

Он к воле звал в песнях отчизну свою,
И пели те песни в цветущих лугах,
В барханной пустыне и в горном краю
Народы земли на своих языках.

Мне их в Самарканде слышать довелось,
В садах Ферганы — жемчуг пушкинских строк.
Я видел, как Пушкина бережно нес
Ребенок в Ташкенте, спеша на урок.

Пел Пушкин прекрасные строфы свои
На севере, возле неласковых вод,—
В Хорезме, над волнами Аму-Дарьи,
Узбечка о русской Татьяне поет.

Одни у нас песни, едины сердца,
Мы радостный, новый построили мир,
Скликает нас вещая лира певца
На праздник поэзии — солнечный пир!

1949

ПЕРЕД ПАМЯТНИКОМ

Пять вех высоких, пять столетий...
Но век промчавшийся — как миг,
О чем твердят дастаны эти?
Нам кажется, о нас самих.

Как он в далеком веке понял
Народ,
 что перед ним предстал!
За то народ теперь и поднял
Его на вечный пьедестал.

В объятьи Родины так сладки
Мечты и песен голоса.
Одежды каменные складки,
Вдаль устремленные глаза...

«Привет, поэт!..»

 В своем паренье
Он видит: век неповторим,
Но ищет в новом поколеньи
Иных Фархадов и Ширин.

О, что за вихрь сметал короны,
Рвал цепи,
 рушил козни чар,
Чтоб в речи сорока народов
Твой дивный голос зазвучал!

Стихи твои не постарели —
Живут, какой ни назови! —
О брат Шевченко, Руставели,
И Пушкина, и Низами!

И их, как ранней розы запах,
В заветном уголке души

Хранят армяне и казахи,
И русские, и латыши...

Навеки гнет позорный сгинул,
Что ты клеймил, о Навои.
Так пой же с нами!

В общем гимне
Пусть строки светятся твои!..

1949

* * *

Уносит все, кружа, водоворот.
И горы, и поля — всегда в круженье.
Все движется — земля и небосвод,
Вовек не прекращается движенье.

1960

Какой любви, перешагнувшей сроки,
Какой возлюбленной
гранит он строки?

В какой далекой дорогой дали
Ее пути-дороги пролегли?..

На стенах и на утвари богатой
Жар очага — как отсветы заката.

Весь изукрашен с головы до пят,
Струит светильник —
света водопад.

К цепочкам слов прикован неразрывным,
К влекущим слог неугомонным рифмам,

Шах оглядит строку со всех сторон —
И морщится, неудовлетворен...

Неужто снова промах?
Неужели
Ты, о царица снов и свет газели,

Единственная на земле краса,
Навеки обольстившая глаза,—

Неужто ты, о родина!— не хочешь
Явиться из-за вязи тюркских строчек,

Душе открыться ярче и видней
За далью далей и пространством дней?

Чужой земли блистательному шаху —
К тебе одной не сделать мне и шагу,

К тебе одной, испепелившей грудь,
До смерти мне земной заказан путь!

Но отзовись! К тебе взываю снова.
Ну отзовись на сладкий оклик слова,

С которым я, земной презревши прах,
К тебе навеки
возвращусь в веках...

1964

* * *

По тайным тропам, от звезды к звезде,
Моя мечта бредет неутомимо,
И мысль моя скитается везде
По следу той,
Последней тайны мира.
И я не верю, что дано уснуть,
Не уловив неведомую суть
У звездной
Неизведанной границы,
У той черты, где умирает жуть,
И свет встает,
И мужество гранится.

1965



Поздний ветер заплакал в печали,
И за речкой, на той стороне,
Так протяжно и долго кричали
Голоса, неизвестные мне.

И покуда поры дожидался
Или силы примеривал дождь,
Старый тополь, как башня, шатался
И листы не удерживал дрожь.

Глухо рушились неба обвалы,
И простор прикасался к лицу,
На ступень высоты небывалой
Вознося
 золотую листву...

1965

* * *

спадает тяжкий гнет,
опадает природа.
В любое время года,
что твой взор падет...

* *

Юность — бутон, с
Плод подсыхающий
Лист нашей веры,
ка
Всё, значит, с нами

1965

★ ★

думать не ленись.
океан познания,
и даль, и близь.
— наше воздаянье?..

★ ★ ★

Не говори, что думать —
Прилежно в мысли погр
Неутомимо разгребай ка
Под ними жемчуг обнар

1965

* * *

дреды Земли.
гом все-таки ушли.
млю друг за другом...
Конец — еще вдали!

* * *

Дурные люди встали н
Отворотись и поспеши
Верь, и в меня они бр
Довольно шрамов на м

1965

* * *

Мысль — молния. Она острее алмаза.
Пусть ты знавал обиды и отказы,—
Гордись собой! Ты муки испытал,
Но мысль живую не предал ни разу!

1965

* * *

Смеркается... Летит издалека
Красавица, одетая в шелка.
Спустилась. Входит... Вижу: это — муза!
И тотчас полилась стихов река,

1965

* * *

Ночное небо надо мной черно.
Мерцают звезды... Счесть их мудрено.
В которой скрыта истина?.. Не знаю,
Хоть землю обошел уже давно.

1965

* * *

Нет предела мечте — как и небу,
Мир, как море, не ведает дна.
И разгадки единственной нету
Тайне той,
Что нам с жизнью дана.
Надо жить!
Не трагично и праздно
Размышлять над разгадкой —
А жить!..
И терзается разум напрасно
Тем,
Что сердцу дано разрешить.

1965

*
мыслей погружен,
м заморожен.
ключ к великим тайнам...
свет зажжен.

* * *
Бездонны мысли, прав
Зерно ее — увы! — не
И мысль за ней броса
Все не догонит!.. Так

1967.

* * *

Осенний лист! Оттенки всей вселенной,
Вся гамма красок буйно в нем цветет.
О, осень! Твой возлюбленный смиренный,
В тебя влюбляюсь снова каждый год.

1967

* * *

Огонь погас, остался лета жар,
Но милости последние природы
Год за долги у лета удержал,
И их сочли на пальцах счетоводы.

Повисла неба праздная пола,
В пустом саду просторно, словно в зале,
«Тепла не жди, такая уж пора»,—
Со вздохом мне садовники сказали.

И вправду: тишь и дымка среди дня.
Не слышно птиц, и целый день без дела
Гонявшая их шумно малышня;
Ведро в саду на ветке онемело...

В листве какой-то новый разговор
И чья-то речь, понятная не очень,
Прядь рыжая,
Косящий хмурый взор...
Кто б это был?

Да это осень. Осень!

1967.

ПАМЯТИ АННЫ АХМАТОВОЙ

Всё мне кажется: день уберет
Дымку памяти с летнего часа,
И на давний высокий порог
Выйдет женщина та
величаво.

Точно трудная ей задана,
Но по силам задача.
И четко,
И ревниво блестит седина
В ее гладкой и черной прическе.

Солнце низится за горизонт,
Полнит тысячи глиняных оспин.
Как крыло стрекозиное, зонт
Пропускает малиновый отсвет.

Ей, идущей, далеко видна
Вся в тенях тополиных дорога.
В истомленном арыке вода
Пробирается в тень понемногу.

А ташкентское лето кипит,
Перепутав наречья и лица,
И под цоканьем частым копыт
Мостовая горит и дымится.

Но встают перед женщиной той
На экране духовного зренья
Кровь, и дымы,
и город пустой —
Весь немислимый ад разоренья,

Горе горькое в гору свали —
И под всеми завалами теми

Ты не сыщешь уже, где — свои,
Где — отчизны скорбящей потери.

Но осанка идущей — стройна,
Крылья шарфа недвижны косые.
Полной мерой дала ей страна
Горя,
 веры
 и силы России.

Вижу я, в отдаленье глухом,
Как черты ее чутки и строги:
В золотящихся струях Анхор,
Золотые ей жалует строки...

1968

* * *

Потоки света с гор струятся вниз,
Над ними — скал угрюмые кочевья.
На небе стайкой облака сошлись.
Внизу цветут миндальные деревья.

Бесшумно опускается туман.
Родник журчит пред нами еле-еле,
От сладких родников я нынче пьян.
Сижу. О жизни слушаю газели.

1968

ПОЭМЫ

МЕСТЬ

1

На супе, возле берега самого,
где сопел самовар полусонный,
собралось бездельников заново,
по обычаю, до полусотни.
И, сияя обличьями сытыми,
пили чай из пиал терпеливых,
и обменивались касыдами
о сраженьях перепелиных.
Клопоча в тумане сиреневом,
роковая утроба кальяна
расхоложенный повтореньями
жар хвастливости накаляла.
Стыли талы тенистой стражею,
ветер вился, обескуражен,—
полушепотом листья спрашивал,
что доверено этим стражам.
И весна плыла над запрудами,
и речная ширилась нега
по соседству с дивными струнами —
от земли до самого неба.
Это к речке, летевшей молодо,
берега огибающей круто,
падал свет —

словно звонкое золото
тишины, полонившей округу.
И, лучами подстегнут этими,
будто птица, взлетев с откосов,
ветер в талах играл соцветьями,

как кистями

в девичьих косах!..

Не причастный к речам и отчасти,
где-то с краю супы той длинной
парень хмурится в одиночестве:
брови бравые, взор орлиный.
Грудь распахнута.

Ну а плечи-то,
видно, груза не ждут полегче!..
И халат полуселковый клетчатый
обтекает мощные плечи.

Но не горе ли давит грудь ему?
Очи думой полны одною.

Словно лев взаперти, за прутьями —
сердце клеткой сжато грудною.

В напряжении оттого еще,
что глядит и глядит на дорогу, —
наконец он видит товарища,
поспешавшего издалека.

«Халходжа,

наше дело верное!

Еще плова, самсы печеной
я на свадьбе твоей отведаю!

Хватит в мире для нас девчонок!..

Понграй-ка!..»

А рядом — плятятся
в ожиданье дивного дара,
и, в разминке пощелкав пальцами,
он касается кос дутара.

Ах, как звуки горюют, дразнятся,
рвутся, выговориться рады!

Ах, какое затеять празднество
тар торопится тороватый!

«Спой-ка, парень!»

И в ритм бешеный,
за мелькающею рукою,
голос входит, как всадник спешенный,
в поводу веда свое горе...

2

Лейлахон восемнадцать отроду.

Очи ясные, взор безгрешен.

Снятся всем — старику и отроку —
эти губы ярче черешен,

этот лик, что белей, чем день,
или
взмах ресниц — крыло наготове,
или черные, неподдельные,
неподкрашиваемые брови,
Глаз пристынет, увидев.

Песнею
отозваться спешат уста
(что и вправду тебя чудеснее,
о девическая красота?
Сердца вечное обмирание
перед нежной, атласной гладью,
когда две эти дыньки ранние
осторожно целуют платье!..)
А походка сама себе еще
так присуща ли, так вольна ли —
как естественен ветер веющий,
как река, что ходит волнами...
А умна-то уж! А речиста как —
наслажденье одно для слуха!
И степенна порою — чисто как
рассудительная старуха.
И откуда взялось... Не то было:
с малолетства среди мальчишек,
с крыш на крыши,
с чинар на тополи,
да и слов, бывало, не слышит!
То в ашички, а то с дутарами,
вертче ртути, юла живая!..
Да потом унялась — недаром и
лучше всех узор расшивая.
В бедном доме — цветок единственный!..
Там старик-то — слуга кукнара.
Только мать с ней возилась с детства — и
дом, хозяйство вела как надо.
Мяла тесто, пекла да жарила,
шила с дочкою тюбетейки.
А как сваты пошли — не жаловала,
лучшей дочке ждала утехи.
В махалле их — джигитов — мало ли?
Все привыкли к сердечной дани!
А иные сердце измаяли,
хоть и черт ее не видали...
И Ахмад,

затравленный мастером,
носом хлюпавший подмастерье,—
ведь признался в этой страсти и он,
умирая в нищей постели!

У ее ворот
сто следов легли.

Сотни сватов трудили руки.

«Не родился тот,
кто возьмет Лейли!»—
говорили о ней в округе.

Халходжа один свою страсть питал,
как вином,

упрямой надеждой.

Этой жаркой любовью судьбу пытал,
тайной верою душу теша.

У джигита жизнь была —

не сироп.

С детства в самом нуждаясь малом,
испытал он долю нищих сирот,
опрокинутых жизни валом.

Потерявши мать, а потом отца,
где путей не торил до рая,
перед кем с тех пор не склонял лица,
хлеб из камня свой

выдирая!

Если кто и посмотрит ласково —
очи большего не гадали.

За чужих, ради блага байского,
спину гнул он и гнул годами.

А понятлив был, и прилежен был!..

Летом — пахота, сев, уборка...

А зимой — ступни о дорогу бил,
и несyt, и одет убого.

От богатых ввек не выдав щедрот,
зная доброе, чаще злое,
отовсюду свой извлекал урок,
из любого людского слоя.

И у тонкой лжи, и у грубых врак
различать учась подоплеку,
за завесой слова, кто друг, кто враг —
чуял запросто издалека.

Столько в жизни ему претерпеть пришлось.
столько горя просеять в ситах,
что скопилась на сердце злая злость

потянулись дни и мгновенья.
Прежде, если кто вздыхал о Лейли,
он смеялся: «Забава слабых!»
А теперь, словно плаваясь в огне любви,
с тяжким телом не ведал сладу.
Как под молотом, гнулся железный стан,
сердце рвалось от крови жаркой.
Как свеча ночная, он таять стал,
как металл
перед белой сваркой.
Гнулся стан, и ночь поглощала стон,
уходила прочь с петухами,—
так же маялся он на свету пустом,
полыханья не потухали.
То, казалось, страсть
через край лилась,
чтобы все повалить преграды —
или песней-воплем

прославить всласть
землю, небо, все звезды кряду.
То сомненья мучили Халходжу —
и горячка бы длилась вечно,
не случись — как ниже я расскажу —
это чудо

в весенний вечер...

Спит округа в сияющей тишине.
Распростерлось над миром сонным
неба нежно-царственное сюзане,
звездным вышитое узором.

Таает

облачка призрачный белый клочок.

Где же звезды позадевало?

Тихо так — то ли он, то ли мир оглох:
ни дыханья из-за дувала.

В темь под талом всматривается Халходжа
в небывалом еще волненье —
и вñезапно чувствует, весь дрожа,
приближение милой тени!

Это в самом деле она, Лейли!..

Шепот — легче дыханья даже:

«Мне не спится... все в доме давно легли...
я и вышла... вас увидавши...»

Ах, как руки поверх дувала сплелись!

Ах, как губы соприкоснулись!
Точно искра в кровь, или выкрик ввысь,
иль сердечного грома гулкость.
Кто из них другого верней нашел?
Что им люди, людские толки?..
Лунный свет струится, как белый шелк
или девичьих кос потоки.
Лалы слова — и снова кораллы губ.
Взрывы чувства — о, как сносить их?
А минуты одна за другой бегут,
страсти алчущей не насытив.
Этот облик, оправленный серебром,
чьим ты именем удостоишь,
с чем сравнишь?..

И вдруг — словно с неба гром
в колотушку ударил сторож.
И расстались две тени, скользнувши в темь,
сливши нежность в прощальном жесте,
и пошел Халходжа по улочкам тем,
словно в горнем плывя блаженстве.

«Эй, воришка! Хе-хе... куда спешишь?
Не Луну ли воруюшь, часом?»
— Так и есть, бобо... От вас не сбежишь!»
— «Верно... в самый час и примчался».
— «Да никак, бобо, и вы влюблены?
Что б вам в час такой — да поспать бы?»
— «Можно...

только как бы у той Луны
не случилось покуда свадьбы!..»
— «Что?!» — сказал Халходжа.

«А что слышал!
Знаешь ведь байваччу Хашима?»
— «Он — женатый!»

— «А если жена плоха?..
Он — богатый, устроит живо!»
— «О-о, проклятые...»

— «Верно. Не говори.
Всё б им лучшее, без изъяну!..
Нынче двор я мел ему в ичкари,
вот он мне и выложил спьяну.
Дескать, деньги взял уже кукнарист,
только, видно, потратил дочиста...

Для меня, говорит, невеликий риск —
дней на пять и нужна мне дочка-то!..»

Жжет железо каленое Халходжу.
А старик — свое: «Я гляжу, кожу —
всё одним помечено знаком!
Всё

богатый возьмет за свою деньгу,
ну а решка — выпадет бедняку,
что бы он ни поставил на кон!»
— «Я ему::: как арбуз, разобью башку!
Задушу... зарезу!.. дома пожгу!..»
— «Э, сынок, понапрасну злиться!
А тюрьма на что? А полиция?
Белый царь с богатыми заодно...
Охраняет их нерушимо...
Ведь не зря портретов его полно
у дружка твоего, Хашима!»
И пошел колотушкой стучать старик,
и один

на углу Халходжа стоит,
словно мертвый ствол у дороги,
а Луна уходит, тени густы,
и не смеют выговорить кусты
о любви

недавние строки...

3

Чайхану заполнил окрестный люд:
гул, и говор, и гогот грубый.
Черный чай из чайников белых льют,
синь пиал пуская по кругу.
За стволами — пламенные лучи,
и на зеркале водоема —
лишь мгновенье вовремя улучи —
все цвета найти удастся!
И у каждой компании — свой кружок,
каждый шум — на особой ноте.
Вот красильщики, желтые, как ожог,
все худые, и в лаке ногти.
Вот кожевников дружный расселся круг
и в веселой гудит беседе;
запах кожи от них, и терпок и крут,
вновь и вновь обдаёт соседей.
Ну а здесь, над компанией чапани,

грозный дух озорства витает,
Бесшашней не сыщете, чем они
тут любой — смельчак и скиталец!
Халходжа за главного в круге том...

Но смолкает застольный говор:
у айвана новенький фэтон
гостя высадил дорогого.

У халата полполы засучив,
испешренной винными пятнами,
коротышка в камзоле из чесучи
к чайхане направился,
пьяненький.

Чем ниже рост — тем выше нос:
наблюденье неоспоримо.

Так и он: опух, щетиной оброс,
а ступает — вроде павлина!
Шепоток пошел: «Байвачча Хашим...
И сюда привела забота...»

Был отец байваччи богачом большим
и владельцем маслозавода.

Вся округа была у него в горсти —
он и жал, как чигит, округу!

И попробуй обиду кто нанести
иль поднять на отпрыска руку!

А развратник пользоваться и рад,
всякой пакостью озабочен.

Тут иные испробовали не раз
тумаков его и пощечин!

Хоть точили в ночи на него ножи,
да затей ничем кончались...

Оглядевшись,

в сторону Халходжи

зашагал байвачча, качаясь.

«Эй, джигит!.. Ты, я слышал, песни поешь —
может, ты и нынче в ударе?»

Вот, возьми, за здоровье мое поешь,
да и спой, и сыграй на таре!»

И рукой, заплетаясь,

в камзол полез,

и кредиток пачку достал подлец.

Халходжа в непонятной позе
замер, вставши.

«Да спой-то не о плохом —

ту давай,

под названием «Лейлахон»!..
Начинай, покуда не поздно!»
Чайхана застыла — чему тут быть?..
Только в следующий же миг
Халходжа рванулся, как дикий бык,—
и кулак байваччу настиг.
Был удар, ей-ей, как удар судьбы!
И, безжизненное убитых,
байвачча свалился долой с супы,
рассыпая веер кредиток.
Чайхана закрутилась как снежный ком!
Кто отхаживает Хашима,
кто спешит Халходжу увести силком,
ну а тот — застыл недвижимо.
Входят стражники. К счастью, «убитый» жив.
Отправляют его домой — и
нечестивца буйного, окружив,
награждают тройным конвоем.
До управы — сто сажень. Народ. Светло.
Равнодушный ко злу и благу,
он идет меж саблями наголо,
как идут на трон иль на плаху.

4

Халходжа — в заточенье... А Лейлахон
то роняет слезинок жемчуг,
то сидит в отчаянии глухом —
драгоценное имя шепчет.
Как, бывало, поводит она плечом,
надевая новое платье!..
А теперь об этом уж ни о чем
и подумать не может, плача.
В небреженье платок на плечах лежит,
не играют дивные брови.
Умерла надежда — разбита жизнь:
что еще остается кроме?..
Где тот лев,
— тот возлюбленный с кругом рук —
в них так сладко тело томится?..
Всё поггло! Нет вольных путей вокруг!
И мятутся голуби-мысли...
Будь он рядом — радости б напилась,
с ним навек отсюда бежала б!..
А теперь — одиночества злая власть

да поток родительских жалоб,
И отец, что в жертву ее принес,
всё одно твердит, что ни день, ей:
«Деньги взяты, а ты воротишь нос!..
Ведь немалые были деньги...
Он ведь всё заберет — и скарб, и дом:
возвратить ведь не сыщем денег...»
Да и мать: «Где приют мы себе найдем?
И куда нашу старость денем?
Присушил и впрямь тебя чапани —
чтоб он сам в той темнице высох!»
И Лейли тоскует ночи и дни,
избавленья от бед не визнав.
То ли вправду бежать ей?.. Но как посметь
стариков оставить без крова?
То ли жить с нелюбимым?..
Да лучше смерти!
Пусть бы только пришла бескровно...

А меж тем байвачча через верных слуг,
что казнен чапани, распускает слух,
и доходит страшная весть
к Лейли —
вот и век твой весь,
и конец любви!..
И старик пришел: «Послезавтра той —
и молчи!
И конец всей блажи той!..»

И молчи... В мире денег всесильна ложь
и закована в цепи правда.
Если деньги прикажут — и кровь прольешь,
и подыметя брат на брата.
И что деньги велят — то велит адат,
тут ничто ни отцы, ни дети,
и родители дочь им должны отдать,
дочь —
невинность и добродетель...
Пусть любую богач утоляет страсть —
а по бедному сердцу
подковы всласть!

5

Бедный люд шушукается по углам:
«Вот храбрец — Халходжа покойный!

Он не то что прочие — трусы, хлам...
Скоро ль вновь будет дан

такой нам!..»

Чапани пропавшего друг и брат —
жаждой мести пылает рябой Барат,
словно грудь ему лижет пламя,
или впрямь халат на нем

из огня!

Не проходит ни ночи и ни дня,
чтоб не строил он мести планы.
С ним и конюх Хашима, Турсункул,
что ушел из-под байской плети,
за неделю тоже глаз не сомкнул,
всё раздумывая над этим.

И решили джигиты: «Мы подождем
нынче до ночи,

старым сеном

дом обложим проклятый — и подождем,
пустим по ветру пеплом серым!»

И не стали ждать, чтоб из планов из их
время — главное потушило:

в ту же ночь взметнулся красный язык
над роскошным домом Хашима!..

Люди в касках метались меж желтых змей,
били струи по алым жалам.

Бедняки, прищурясь — сказать не смей! —
наблюдали за тем пожаром.

Приплетая аллаха во всех делах,
бормотали друг другу:

«Воздал аллах...»

Зря метались каски, вода текла:
помогало пламени лето.

К свету здание выгорело дотла,
рухнув наземь черным скелетом.

У полиции тоже кончился шок:

трех бедняг увели под стражей!

Но Барат заявил: «Это я поджег!» —
и пошел под арест без страха.

6

После памятной ночи дней пять спустя
байвачча проснулся под утро.
Голова трещала (пожар — пустяк
просто выпито было крупно!),

Где-то близко слышались крики, плач,
«Что за вопли!» — спросил он морщась,
«Помер кто-то...»

— Да кто? Ты глаза не прячь!..
Дай хлебнуть-то — трещит, нет мочи...
Кто там помер? Не мнись, старик, говори!..
— «Дочка вашего кукнариста...
ночью яду выпила...»

— «Черт подери!
Не могла подождать денька два-три!
А теперь, поди, разберись там...
Надоело... Скажи, чтобы Мирхалык
фаэтон заложил!.. Нет мочи,
как трещит... надо к речке...»

Глянул старик,

поклонился и вышел молча.
Байвачча папиросу зажег и с ней
посидел, не спеша одеться.
«Дура девка... далась бы на пару дней...
Так устроила ж!.. Дура девка...»

И опять вороных упряжка бежит —
лака сколько! И сколько шика!
Фаэтона поскрипывающий бешик
убаюкивает Хашима.
А из узенькой улочки, на плечах
шестерых пареньков несильных,
выплывает навстречу им в тот же час
погребальный убор носилок.
Слышен вопль матери: «Вай балам!»
Кукнарист качается синий.
И белей, чем в жизни, — белым-бела! —
Лейлахон лежит на носилках...
Захрапев, вороные прынули прочь.
Но, из полудремы не выйдя,
лишь качнув на подушках пьяную плоть,
байвачча проехал, не видя,
Ну, девчонка нищая померла...
Будь жива — была б подороже!
А теперь забыть — да и все дела.
Им сегодня — не по дороге.
Он развеяться ехал — она плыла
в то ничто,

где напрасны сроки!
Его ждал золотистый свет с высоты,

все земные подобья рая —
голубые дали, река, сады..
А ее — лишь земля сырая.
И — оплаченный вечной работой тех,
кто на поле косточки парит, —
его ждал нескончаемый ряд утех!..
А ее — лишь матери память.

И Лейли лежала — как та Лейли,
что воспета в веках Медждуном, —
воплощение убитой людьми любви,
уходящей во тьму бесшумно.
И лежала Лейли, белым-бела,
этих лиц рыдающих выше, —
может, так же прекрасна, как и была,
но зато

так страшно недвижна.

На руках вознесенная над толпой,
где не тронут ее наветы —
но и ты, о возлюбленный!..

и с тобой

расстающаяся навеки.

7

Ночь темна, как могила. Как ад, темна.
И черны беспросветно мысли.
Нынче кажется раем даже тюрьма,
где три месяца он томился!..
Как он верил темным ночам таким,
жаждал в эти нырнуть глубины —
свое тело, жаркое, как такыр,
свою душу

вернуть любимой...

Как к побегу готовился Халходжа,
хоть побег и казался страшен,
и как лихо, отчаянно он бежал,
без ножа

расправясь со стражей!..

Но добрался, узнал — словно жгучий вар,
опрокинулась весть на сердце.

Нет беды грозней, чем надежд обвал, —
тут никто уже не спасется.

Всё у парня,

всё запеклось внутри,

кроме яростной жажды мести!..
И бродил он здесь уже ночи три —
на проклятом знакомом месте.
Не гулять бы тебе по ночам, Хашим,
словно злая плеть по плечам чужим,
пусть припомнится лучше та, что
ты убил, провинившись тяжко!
На колени б пасть,
покаянье несть —
может, чья-то власть
остановит месть?..
А в полночной тьме не видать ни зги,
да и звука живого нету,
но слегка спотыкающиеся шаги
вдалеке слышны наконец-то.
Халходжа, как хищник, к стене приник.
«Байвачча!!»

— «Че-го?..»

И взметнулся вмиг —
и ударил разящий нож.
То ли вздох, то ли всхлип — и упал мешок.
Был Хашим ничем — и в ничто ушел!..
Да и мститель —
ушел в ночь.
Он ушел, точно сбросив тяжелый груз,
обрубив прожитые дни!..
Что там дальше — рассказывать не берусь;
вот вся правда о чапани.

1933

БАХТЫГУЛЬ И САГЫНДЫК

Был Атабай известный богатей,
Его стадам джейлау тесны были.
Когда скакали тьмы его коней,
То застилали солнце тучи пыли.
Водил он из Ташкента что ни год
На Каркару большие караваны...
Будя пустыню,
Мерный звон плывет.
На аргамаче бай, пузатый, чванный.
Едва не падает под седоком
Скакун, покрытый алою попоной.
Лоб Атабая спрятан колпаком,
Заплывший, хитрый глаз прищурен сонно.
Бешбармака наевшись, бай сопит,
Свисает, словно мех с кумысом, брюхо,
Ата тревоугодьем знаменит —
Он не оставит от овцы и уха...
Одет что надо — любо поглядеть!
Халат парчовый, обувь из сафьяна.
В руке витая кожаная плеть —
Изделье мастеров из Казахстана,

Хоть Атабай не знает ни аза,
Разинет рот ученнейший мирза.
Когда Ата, на стадо мельком глянув,
Сочтет мгновенно тысячу баранов.
И даже если молится, скупец,
То в голове он головы считает...
Как желтенькие катышки овец,
Его мощну монеты наполняют...

Вот так когда-то прадеды Ата
В степях казахских и в киргизских скалах
В мороз и в зной вели гурты скота...
Он в прадедов пошел, но обогнал их.

Такие барыши не снились им...
Как пень молчит он, ни на что не глядя,
Он — впереди, наряжен, недвижим,
А батраки оборванные — сзади,
О них он не подумал отродясь,
Бросает им объедки и отрепье.
Они молчат, и день и ночь трудясь,
Их муку знают лишь ветра да степи...
Вот Каркара.
Базарный пестрый шум,
И ветер яростный,
И пыль седая.
Худой дехканин,
Жирный толстосум,
Голодная, в лохмотьях, челядь бая,
Батрак не человек для богача...
Ата идет базаром, красен, потен...
Тьмы тем овец пожрал базар, урча,
А лошадей, баранов — сотни сотен.
Считает бай, на корточки присев,
В тугом кошле звенящие монеты.
Батрак стоит.
В глазах — бессильный гнев,
У парня и овцы паршивой нету.
Попросит робко плату — получай!
Работника огреет палкой бай.
Объедки лишь получит он у бая...
Ата бредет по ярмарке, рыгая.
Все тонкости он знал наперечет —
Божбу, угрозы, по рукам удары,
К любому торгашу имел подход
Торгаш прожженный, караванщик старый,
Но страсть к наживе въелась в потроха,
Но чары пышной ярмарки могучи:
Хорош товар...

Идет?

Удача.

Ха!

Дарма стада овец!
И деньги кучей,
И радуется барышу душа:
Дела — каймак.
А скот... А денег, денег...

И вдруг — остолбенел он, не дыша,

Трясется крашеной бородки веник,
Раскрыты жадно щелочки-глаза,
И нежно выпячены губы-сливы...
В недоуменье поднял бровь мирза,
Каламом постучал нетерпеливо.
Писцу рукою сделал знак Ата —
Тот прикусил калам, увидев чудо...
Застенчива, прекрасна и проста,
На них глядела девушка с верблюда,
Ее глаза, раскосые слегка,
Два сумрачных огня таят, глубоки...
Цветок степей казахских!
Как тонка!
Как яблоки, нежны, румяны щеки!
Верблюда дряхлого измучил зной,
От смотрит загнанно, тоскливо, кротко...
Старик, оборванный, полуслепой,
Повсюду ходит с внучкою-сироткой.
Кумыса чашку выпив поутру,
Она смиренно деда попросила
На ярмарку поехать в Каркару —
Жизнь бедной девушки скучна, уныла...

В раздумье головой Ата поник.
Что делать?
Он молчит, сосредоточась...
В служанки пусть ее продаст старик!
Бай старика уламывает тотчас,
Казахские торговцы — тут как тут.
(Всегда богач с богатыми в союзе.)
Договорились.
По рукам уж бьют,
Старик завязывает деньги в узел.
Красотка задешево продана!
Старик уходит, уводя верблюда,
А Бахтыгуль одна...
Нет, не одна.
Толстяк подходит к ней.
Кто он? Откуда?
И почему ей косы гладит он?
И шепчет: «Ты моя, моя отныне...»
И поняла она,
И горький стон
Сдержать не в силах юная рабыня...

В густую темень погрузился мир.
Писец нарын разносит, угощая.
Купцы-казахи собрались на пир,
Все дружно поздравляют Атабая.
Бай позабыл об овцах — так он рад.
Довольно чавкает.
А пир — горою.
«Ай, молодец Ата! — вокруг кричат. —
Красивый цветик нынче он раскроет!»

В соседней юрте Бахтыгуль одна.
Рыданья тяжкие прервать невмочь ей...
Всё брошено в огонь.
В плену она...
И думы сироты чернее ночи:
Был ею Сагындык-бахши любим,
В его домбре душа, казалось, пела, —
Она хотела быть навечно с ним
И ничего иного не хотела.

Как будет горевать ее джигит!
И станет ли он петь, грустя по милой?
Наверное, он в эту ночь не спит
И соловей-домбра ему постыла...
Свеча горит.
Ее спокойный свет
Цветы ковров роскошных зажигает.
Всё спит.
Лишь Бахтыгуль покоя нет.
От скорбных дум она изнемогает.
Вдруг в юрту шумно входит бай Ата,
Он пьяно просит что-то по-казахски.
Грозит он, ищет девичьи уста...
Она дрожит,
Ей страшны эти ласки...

И день и ночь рабыня под замком,
Заглядывает в юрту лишь хозяин.
С одною страстью дух ее знаком,
Одной мечтою ум ее измаян:
О, вырваться б на волю поскорей!
Сорвать с души тяжелые оковы!
Нет из аула милого вестей,
Не слышно песен друга дорогого.
Где нежный ветерок родимых гор,

Ущелье — печного потока ложе?
Тоскою омрачен служанки взор,
Кручина сердце раненое гложет.
Что свет, что мрак — теперь ей всё равно.
В душе, как в юрте запертой, темно.
О чем мечтать? Не явится подмога.
Однажды, чтоб рассеяться немного,
Она запела — тише ветерка...
Вошел Ата, сурово сдвинул брови.
Рабыня смолкла
Но ее щека
Зарделась от удара
Смуглой кровью.

Прошли недели.
Торжищу конец.
Десятки тысяч лошадей, баранов
Степами гонит Атабай-купец.
Лик солнца потускнел, в пыли увянув,
И светлый глаз луны закрыт в ночи —
Всю пыль пустыни караванщик поднял!
И яростные ветры горячи,
И жажда мучит, словно в преисподней,
Верблюдам — даже им идти невмочь!
Окаменела Бахтыгуль-рабыня.
Под чекменем она и день и ночь.
(Ведь паранджи не отыскать в пустыне.)
Недвижна, словно мертвый груз, она...
Волнами катятся в степи барханы,
И солнце красное, восстав от сна,
Бессильно пропадает в мгле песчаной.
Чужие нравы,
Незнакомый край...
Она томится,
Если б улететь ей!
Ее верблюд отстанет — тотчас бай
Подскачет к Бахтыгуль, отхлещет плетью.

Все ночью отдыхают — лишь она
Костер раскладывает, дым глотая.
Уснули все. Она ж, не зная сна,
Подолгу растирает тело бая...
Вздыхая тяжело, пустыня спит.
Лишь ветер кружит в чаще саксаула.
Верблюд жует — когда он будет сыт?

Храпит хозяин — потный, медноскулый.
Терзает уши этот жирный храп.
Когда б не он — рабыня задремала.
Когда бы унести́сь домой... Когда б...
Ее глаза смыкаются устало...
Вдруг встрепенулась.
Что там?
Топ копыт.
Людская брань. И стоны...
Грабят, что ли?
Порхнула из шатра.
Народ бежит.
Схватив ножи, дубины и дреколье...
Шатер распахнут — Атабай зовет.
Подходит Бахтыгуль, дрожа от страха,
Рассвирепевший жирный скотовод
С проклятьями бьет в грудь ее с размаху.
Упала...
Вдруг ушей ее достиг
Такой знакомый голос...
Сагындык!
Он разыскал ее, с друзьями прибыл,
Ни смертных мук, ни рабства не страшась.
Бежать за ним!
Пусть — пытки, даже гибель,
На всё готова Бахтыгуль сейчас!
Но даже пальцем двинуть невозможно —
Ее связали...
Стонет сирота...
Смолкает гам.
Вдали кричат тревожно:
«Исчезли вору!»
Кровь не пролита!»

Ата в Ташкент въезжает спозаранку.
Его встречает старшая жена.
Ата кивает:
«Вот, возьми служанку.
Пускай тебе принадлежит она».
Хозяйка пристально глядит, бледнея:
«Пусть счастье принесет рабыня в дом!»
И тихо Бахтыгуль бредет за нею,
С густых ресниц слезу смахнув тайком...
Ни весточки из милого аула.
Как безотрадно Бахтыгуль житье!

Предчувствие ее не обмануло:
Хозяйка ела победом ее.
С рассвета — порученья да разносы.
Хозяйка бьет беднягу день-деньской,
Метлу служанке заменяют косы,
Рука рабыне служит кочергой.
Кошма гнилая — вместо одеяла.
Для сна отведена сырая клеть.
Здесь на полу она лежит устало.
А платье...
Платье — ветошь. Стыд надеть!
Хозяйка недурна, да поседела,
А Бахтыгуль красива и юна.
Жена следит за баем то и дело.
Ревнует люто старая жена!
Да, ичкарн для Бахтыгуль — могила,
И ночи, как надгробья, тяжелы.
И утра беспросветны и постылы,
И тело точат дни, как кандалы...

На славу удалось расторговаться!
Из Каркары вернулся бай опять.
Ржут лошади, и стригунки резвятся,
С верблюдов батраки сгружают кладь.
А Бахтыгуль дрожит, как лист осенний,—
Снаружи крики земляков слышны!
О, выйти к ним хотя бы на мгновенье:
Вдруг — весть пришла с родимой стороны?..

Окутывает город тьма ночная.
Жгут на подворье земляки костер.
Друг друга на лету перегоняя,
Несутся искры в сумрачный простор...
С тоскою долго Бахтыгуль боролась.
Напрасно.
Видно, нынче ей не спать.
И вдруг — взметнулся рядом ясный голос.
И мир прекрасным сделался опять.
И снова жить рабыне захотелось
От этой песни нежной и простой.
В ее душе зажглась былая смелость
И завладела скованной душой.
Она узнала пенье Сагындыка,
Услышала привет родных долин...
О боли,

О любви своей великой
Неподалеку тихо пел акын:

«Тосковал, искал тебя я,
Звал тебя, изнемогая.
Помнишь друга, помнишь клятву?
Отзовись мне, дорогая!

Темен, страшен день разлуки.
Он — начало нашей муки,
Он — начало ночи нашей».
Смолкли струн влюбленных звуки,
Не поет домбра акына,
Давит горло ей кручина.
«Снег весну мою засыпал,
Без тебя я сердцем стыну.

Хоть в моей беде-печали
Все друзья мне помогали,
Хоть следы твои в пустыне
Мы однажды отыскали —

Но черна судьба слепая!..
Мы настигли Атабая,
Львами ринулись мы в битву,
Но спасти не смог тебя я...

Дни тянулись еле-еле.
Как века, длинны недели.
Как страдал я! Ранним снегом
Эти кудри побелели.

Всё душа стерпеть готова...
Чтоб тебя увидеть снова,
Стать невольником решился
В Каркаре я в день торговый.

Не страшны мне муки ада,
Мне тебя увидеть надо,
Счастья моего цветок ты,
Бахтыгуль, моя отрада!»

Как будто солнца вешнего поток
По жилам Бахтыгуль звенит, струится,
Разверзлись, мрачный низкий потолок!

Обрушья, дом, постылая темница!
О, если б легкой птицею порхнуть,
Как на огонь, лететь на эти звуки,
И кинуться любимому на грудь,
И позабыть обиды, тьму разлуки.
Отведать счастья хоть глоток один,
Хоть миг один дышать ветрами воли...
О Сагындык, возлюбленный акын!
Ты слышишь песню сердца,
Песню боли!
Но ей нельзя ни выйти, ни запеть,
Ей можно только плакать до рассвета,
А на рассвете — снова брань и плеть...

Но сердце Бахтыгуль мечтой согрето,
Но Сагындык пылает всё сильней,
Надежды на спасенье не утратив,
Средь пастухов немало есть друзей,
Средь батраков батрак найдет собратьев.
Они лишь с виду загнанны, тихи,
В измученных сердцах — свободы жажда,
Ждут знака батраки и пастухи,
И ненавидит Атабая каждый.

Ночами, после тяжкого труда,
Они о чем-то думают угрюмо.
Они мечтают, спорят иногда,
И, словно камни, тяжелы их думы.
Всем невтерпеж хозяйский кнут и гнет,
Всем ненавистны беки, бан, ханы...
Когда ж освобожденья час пробьет,
И гнет падет,
И вспыхнет бунт желанный?

Друзья сходились по ночам в людской.
Берет домбру бахши, невольник юный,
И жарким гневом, и глухой тоской
Рокочут негодующие струны.
И закипали яростью сердца,
Позабывалась вечная усталость,
И огнедышащая песнь певца
Призывом к возмущению казалась.

Но вот прорвал плотину страха гнев.
Издых у бая аргмак любимый,

Хозяин лютовал, осатанев,
Он конюхов своих избил дубиной;
Их было девять.
Выставил он их
На двор, в объятая ледяной метели.
Мороз в тот день был нестерпимо лих,
И конюхи совсем окостенели.
Хозяин цену девяти коней
Потребовал отдать за аргамака...
Спустилась ночь.
И, молнии быстрей,
Неистовый огонь взвился среди мрака.
То мечь батрацкая взвилась огнем,
Хозяйское добро испепеляя,
И рушится, треща, роскошный дом —
Проклятое гнездовье Атабая...

Торговец связан,
Связана жена.
Испуганно таращатся спросонья...
И темнота ночная сожжена,
И рвутся застоявшиеся кони,
И клич джигитов радостен и дик:
«Бей богачей и ханов без пощады!»
И впереди несетса Сагындык,
А Бахтыгуль трепещущая — рядом.

1933

О КУЗНЕЦЕ ДЖУРЕ-КЯФЫРЕ

Вы не знавали кузнеца
Джуру-Кяфыра — силача?
Он в поте смуглого лица
Железо сплющивал сплеча.

Трудом он добывал свой хлеб,
Широкоплеч, неутомим,
В кузнечном трудном ремесле
Никто не мог сравниться с ним.

Хоть на бровях осела ржа,
Чело покрыла сеть морщин,
Высоко голову держал
Бронзоволикий исполин.

Сверкали очи коваля,
Когда кувалды тяжкий груз,
Сухими искрами пыля,
Впивался в раскаленный брус.

Не унывают никогда
Такие славные сердца,
Печаль не смеет свить гнезда
В горячем сердце кузнеца.

Одно ль железо в том огне,
Что в горне пляшет, зашипев?
Нет, в нем с железом наравне
Джуры-Кяфыра правый гнев!

Был кузнецом его отец.
Когда ж отца сразил недуг,
Тяжелый молот взял кузнец
Из каменных отцовских рук.

Он пятерых ребят кормил,
Но только тот, что старше всех,
Ему в труде подмогой был
И раздувал кузнечный мех.

На кузнеце плохой чапан
В узоре дырок и заплат,
Но ни мулла и ни ишан
Его души не обольстят.

Безбожник — не носил чалму,
Не бил поклонов без конца,
Джурой-Кяфыром потому
Прозвали люди кузнеца.

«Эй, богомолы! — он кричал. —
Тогда бы я молиться стал,
Когда б от праведных молитв
Хоть медный грош ко лбу прилип!»

В широкую стучал он грудь,
И так к нему прозвание шло,
Что без «Кяфыра» на «Джуру»
Не откликался ни за что...

Хоть к букварю он не привык,
Но был глубок природный ум.
В его душе кипел родник
Отважных помыслов и дум.

Был у Джуры старинный друг
Турсун — рабочий заводской.
Имел он пару крепких рук
И ни копейки за душой.

Друзья — точь-в-точь двойной орец!
Попробуй их разъедини...
Рычал богач: «Их речи — грех!
Вероотступники они!»

Турсун на бая спину гнет,
Турсун от пота весь промок.
Когда ж платить приходит срок,
Хозяин денег не дает.

Смутьяном кто успел прослыть,
Тому недолго и в тюрьму,
А пристав может и прибить,
Коль не отдать поклон ему.

Когда ж оказывался друг
В тюремном каменном мешке,
Джура, кляня всех царских слуг,
Метался в горе и тоске...

К Джуре с работы заглянув,
В закатный час войдя во двор,
Цигарку длинную свернув,
Турсун заводит разговор.

Придет, бывало, под хмельком:
«Всем богачам — цена одна,
Жулье останется жульем,
Имамам, баям — грош цена!»

А иногда во двор с утра
Зайдет — цигаркою пыхнет:
«Бастуем нынче, друг Джура.
Рабочий русский нас ведет».

Джура в ответ: «Что толку в том,
Хозяин тоже не дурак,
Как бык упрется, а потом
Вас всех погонит как собак».

Турсун из-под густых усов
Бросает меткие слова:
«Мы отстоим свои права,
Придушим баев и купцов!»

Всю ночь беседуют друзья,
Горят надеждою глаза...
По краю облака скользя,
Встает железная гроза.

Земля — в потугах родовых,
И вот — приветствуя грозу,
Винтовку сжав в руках тугих,
Заговорил боец Турсун:

«Народ рабочий, власть возьми,
Настал твой час, настал твой день,
Воспрянь — и спину распрями,
И получи права людей!..»

И на полотнищах знамен
Джура увидел молот свой.
«Ты загнан был и угнетен,
Теперь вставай, иди и пой!»

И ощутил тогда Джура
Себя, как прежде, молодым,
Настала новая пора,
Ушел былого черный дым.

«Вот на знаменах молот мой,
Вот серп — они одной семьи,
Дехканин и мастеровой —
Вот братья кровные мои».

Народ теперь — всему глава,
Богач проклятый не у дел,
Цедить зловонные слова —
Его сегодняшний удел.

И с партбилетом на груди,
В кожанках, стянутых ремнем,
Турсун с Джурую в эти дни
Вступают властно в байский дом.

Полны деньгами сундуки,
В них золото и серебро,
В земли глухие тайники
Они запрятаны хитро...

Сокровища, что бай припас,
Выходят из подземных гнезд,
У кузнеца отличный глаз,
Он сразу видит всё насквозь.

Полны большие закрома
Зерном отборным золотым.
Душа Джуры огнем полна,
В глазах у бая пляшет дым.

Джура — друг первый беднякам,
Дел и собраний не сочтешь!
Он странствует по кишлакам,
На баев нагоняя дрожь.

Вот над грядой людских голов
Легко пословица взвилась...
Джура — известный острослов,
И метит он не в бровь, а в глаз!

Известны все его дела,
И вот его призывный клич:
«Советам — слава и хвала!
Живи, великий вождь Ильич!»

Год девятнадцатый. Зима.
В холодном небе посвист пух.
Белогвардейская змея
Вздывает голову свою.

И те, кто гадине сродни,
Повылезали из углов.
Повсюду рыскают они,
Подобно своре черных псов.

Им темной пеленой глаза
Застлало бешенство само.
Они хотят народ связать,
Запрячь в позорное ярмо.

Людей труда не перечеть.
Большевиков тверда рука.
Покуда кровь в их жилах есть,
Они стреляют во врага.

Мангал потух... Живым огнем
Не тешит глаз углей игра.
Перед потухшим очагом
Сидит, нахмурившись, Джура.

Сидит, нахмурившись, Джура,
Вокруг резвится детвора,
Ребячьим криком полон дом,
И над кошмою пыль столбом.

Забрался на́ плечи к отцу
Сынишка младший, крикнул «но»,
По шее хлопает рукой,
Не покорился сорванцу,
Скакать не хочет верный конь...

Джура задумался, застыл,
Лицом внезапно омрачась.
Но почему он мрачен стал?
О чем он думал в этот час?

Раздался дальний рев гудка,
Вскочил Джура и сел опять,
К винтовке тянется рука,
Пора, пора оружие сжать!

Что ж ты замешкался, Турсун?
Умерить надо вражью прыть,
Сегодня надобно в бою
Всю эту контру раздавить.

Калитка заскрипела вдруг,
И, перецеловав ребят,
Из дому выбежал Джура,
Порывом яростным объят.

В короткой шубе на плечах,
С винтовкой верною в руках,
Бежит Джура, — как мел бледна,
Склоняет голову жена.

Седые сумерки. Мороз,
Ветвей белесое шитье.
И, выпорхнув из ветхих гнезд,
Кружится в небе воронье.

В огне ташкентский небосвод.
Свинец засел в ветвях седых,
Гудки зовут: «Друзья, в поход!
Крепите грозные ряды!»

Вот старый мастер лег на лед
В арык замерзший и с угла
Из пулемета крепко бьет,
Хоть голова его бела.

Седые ветви. Снег и тьма,
Слепые посвисты свинца.
Окаменелая зима
Кусает щеки кузнеца.

Порывом подняты одним,
Бегут вперед, врагу грозя,
В одном ряду с Джурой моим
Турсун и русские друзья.

Светает. Из подвалов всех,
Из нор последних выбит враг.
И опускается на снег
Сраженный пулями Джура.

К нему товарищ подбежал,
И он, собрав остаток сил,
Ему рукою указал:
«Иди и гадам отомсти!»

И перед ним на краткий миг
За полминуты до конца
На красном знамени возник
Могучий молот кузнеца.

1933

НАВОИ

1

Сквозь даль веков что, может статься,
Прикрашивают старину,
Я вижу призрачного старца
Сияющую седину.
Не властность — власть в его обличье.
Но дышит ласкою чело:
Надменности его величье
Не уделило ничего.
Черты лица — чертоги тайны:
Подчас и впрямь разгадки нет
Всему,
Что сердце неустанно
В себе копило столько лет!
Печаль и мудрость правят взглядом,
И мнится — мысль его сама
Звучит,
Как будто строчек ладом
Преображается в слова.
И седина его прекрасна,
Но быстрый взор из-под бровей
Порою вновь метнется страстно,
Нежданной молнии новей...

Так белый день плывет над полем,
Плывет — и, полых вод полней,
Впивает, высшей жажды полон,
Весь пар с разморенных полей.
Молчит, улегшись, ветра свора,
И, неподвижные, с боков
Лежат на глади
Небосвода
Седые пряди
Облаков.
И только где-то на закате
Вдруг потемнеет седина,

Рванется ветер, и накатит
Блаженной свежести волна,
И даль покажется огромной,
И, затмевая солнца взгляд,
Сверкнет, дразня неслышным громом,
Всей страсти скопленной разряд...

2

Я вижу полночь.
Тайный трепет
Тревожит тихую свечу,
Как будто ветер тайно треплет
Седой подсвечник по плечу,
И всей игрою теней частой
Рождает быстрые следы
В наполненной китайской чаше,
На глади налитой воды...
И четкие чеканит грани,
Или, набравшись сил в ночи,
Уснувшей комнатой играет,
Приподымая меч свечи,
И ловит стен сухие стоны,
И гладит белые листки
И своды мысли обнаженной —
Книг золотые корешки...

А ночь молчит.
Свеча.
И своды.
И только слышен до утра
Прерывистый, как речь природы,
Скрип камышового пера.
То бродит песнь в мозгу усталом,
И над бумагой, что бела,
Летит калам —

как тень по скалам
Высоко взмывшего орла!
О, эта песнь... Всей силой пыла,
Какой истратить не дано,
Она расскажет всё, что было,
И то, как это быть должно.
И этим радостным слияньем
Воспоминанья и мечты
Такое зиждется сиянье,
Такая сила правоты,

Что память
Строчкам вслед несется,
И в неизбежной их красе
Ты видишь:
 было сердцем — солнце,
Нас озарившее в «Хамсе»!
...Спит Унсия.
То четче, строже,
То снова шире круг стиха.
А ночь тиха:
Лишь окрик стражи
Да сонный голос петуха,
И в даях воли невозможной
Сознание ширится, как степь,
И только знаешь: должно, должно
Всё это высказать успеть.
И, не растраченные в одах,
Летят и лепятся слова,
И старость — ложь,
И труд — как отдых,
И строчки — это жизнь сама!

3

Еще темно в саду намокшем,
Но край рассвета сер и строг.
И розы девственным намеком
Еще томятся между строк.
Он медленно идет по саду,
В его глухую глубину,
Шагами легкими спасая
Натруженную тишину.
И мысли сонными стрижами,
Кружась, обшаривают близь,
И кажется живой скрижалью
Ему на грудь слетевший лист.
И полумгла морочит зренье.
Он воздух пробует на вкус.
Печальной
Долгою газелью
Его в тумане манит куст...
А между тем в стволах алеет.
Теплеет.
Света новизна
Доламывает на аллее
Глухие изгороди сна.

Он поворачивает к дому.
Жизнь. Старость. Утро.
Нет конца..
Почтительный седой садовник
Его встречает у дворца.
Заря ли так пылает яро,
Кидая блики на поднос,
Иль эту россыпь алых яблок
И впрямь

старик ему поднес?

День,

час,

мгновение какое

В нем этот свет освободил?..

Старик сгибается в поклоне:

«Отведайте, о господин!»

Он улыбается. Заплакать

Сейчас бы в пору.

Влажный плод

Хрустит.

О, ледяная мякоть,

Садов бестрепетная плоть!

Он входит в добрый сумрак дома.

Приветствия тасует слух,

Привычно вылуцив из тона

Участье ласковое слуг.

А всё же — это старость. Старость!

Жизнь — словно лунный диск на дне,

Такая медная усталость.

Такая тяга к тишине.

А прежде — звонкий лязг оружия,

И гам толпы, и блеск двора

Казались, ей-же-ей, не хуже,

Чем ночь в уединенной худжре,

Свеча,

бумага,

скрип пера...

Но он проглатывает горечь,

Как хлеб, как яблоко.

В дому

Томительная радость горлиц

О чем-то вновь твердит ему.

Он смотрит на сидящих в клетке

Беспечных птиц,

и нежность их

Без пищи
Погибал;
И в каждой — хворь и горе в силе;
Там ждут беды, как утра ждем;
Там дослепу глаза слезили
Над шахским золотым шитьем
Или выплакивали очи,
Пока за годом год подряд,
Как дэв, сжирал их нежных дочек
Гаремов гибельный разврат...
Да, здесь не сделаешь и шагу,
Чтоб души не попать,
Как прах!..
Он говорил об этом шаху —
В совете,
 в поле,
 на пирах;
Ни лести, ни страх
Лишенья сана,
Ни казней дикая гроза
Не отвели его глаза
От разоренья Хорасана!
Он прозревал конец...
 тот самый,
Какой не ждать теперь нельзя!
Ты вспомнишь это, гордый город,
Когда поникнешь,
 гол и сир!
Но из-за двери — робкий голос:
«К вам двое странников,
 таксыр!»
— «Впустить, впустить!»
 Заходят двое,
Сожженных солнцем дочерна.
У каждого над головою
Котлом вздымается чалма.
И неумелые заплаты,
Решительные, как мечи,
Пересекают их халаты
Из пожелтелой алачи.
Одежда — долгих странствий карта!
В узлах, ей-ей, лепешки нет.
«Таксыр, мы к вам из Самарканда...
Нас вел
 сего порога свет...»

Он клонит голову в ответ.
Как юны... как бедны и худы!
Как будто впрямь
весь тела сок,
Как мед из опустелых сот,
Забрали годы жизни скудной.
И всё ж — какой огонь покуда
Горит в глазах!

Как лоб высок!
О, совершись такое чудо —
Вернись утекшие в песок
Лета его —

и он бы мог
Стоять меж них — совсем такой же,
С иссохшей в худжрах тонкой кожей
И тем же пламенем в очах!
Тогда он так же верил жадно,
Что держит небо на плечах,
Что вечной мудрости очаг
Разгонит холод беспощадный...
И торжества настанет час!
Привет, задор поры отрадной...
О молодость, лишь ты — очаг
Надежды...

«Юноши, ступайте,
Вам приготовлены места.
Дадут вам книги,
пищу,
платье».

Благодарят. Уходят. В доме
Шагов шуршанье... Пустота.
Нет, он не прав, ведь неспроста
К бумаге тянутся ладони!
Нет,
слишком сетовать нельзя...

А за полдень — придут друзья,
Пойдет высокая беседа
За чашей нежного вина,
И над пустыней жизни серой
Взойдут великих имена.
Слова не расточая втуне,
Снизав, как четки, мыслей ряд,
Заговорят об Афлатуне,
Об Арасту заговорят.

И, неизвестная доселе,
Страстна,
 задумчива,
 строга,
Напевной чьей-нибудь газели
Нежданно зазвучит строка;
Мелькнет слово;
 а тут как раз и
Вслед подоспеет рубан,
Пойдут веселые рассказы.
(Он вспоминает Бенаи).
И, перескакивая через
Соседей,
 шумный спор пойдет;
Еще вина добавит челядь;
Настанет музыки черед...

6

Послеполуденного жара
Мир, как жаровня, полн...
 Верхом
Он едет к шаху. В небе шало
Истаивает ваты ком.
Он проезжает вдоль базара:
Возня обычная кругом.
Торговец сладостями хвалит
Товар свой до небес!
 Дрова
Ишак везет едва-едва:
Вот-вот они беднягу свалят...
Старуха тощая несет
Очищенного хлопка кипу.
Муллабачи с юнцом каким-то
Толкуют, вставши на носок.
Поймали вора.
 Торг кипит:
В рядах толкуются и рядятся...
Одни лишь баи-краснорядцы
Хранят невозмутимый вид.
Он
 и не глядя
 видит это!
На улицах, узнав поэта,
Его приветствует Герат.
Он едет молча, смутен с виду.

И, наконец, его и свиту
Впускает стража в шахский сад...

Он входит в главные покои
С поклоном низким.

Тучный шах
Сидит, как мех пустой дыша,—
Расслабленный, в тупом покое.
Проходят сотни льстивых лиц —
Шах ждет, покуда двор громадный
Какой-то шуткою кровавой
Излечит воли паралич...

Ну, а вокруг
кипит базар
Стократ страшнее городского!
Торгуют казнями.

Позор
Берут в придачу к землям новым.
Сардары, беки, шахзаде
Толкуются, как на рынке крытом,
Как жадный скот перед корытом,
Где корки плавают в воде!..
Смотри, поэт!

Ведь это здесь
Твоих больших надежд могила:
Вот эта тучная машина —
Твой просвещенный шах
и есть!

Смотри — и кайся!
Не сюда ли
Ты силы лучшие вложил,
Чтобы властитель сей служил
Примером вечным
государям —

Царем, который власть берет,
Чтобы не бедствовал народ!..
Так вот куда ушли они,
Любви не отданные ночи,
У строчек отнятые дни!
Вот дел итог,

и слов,
и строчек!
Вот ложе лжи, что ты стелыл,
Кому —

еще, увы, не зная...

СКРИПАЧ

1

Лет сорок скитался Халдар
С тамбуром,

и сазом,

и таром.

Как слушали люди, когда
Он струнным одаривал даром!
А это уменье и пыл,
Пленявшие всех без осечки,
Обрел —

когда мальчиком был —

В дому у печальной соседки...

Нам имя ее ни к чему,
И вряд ли его обнаружим
У памяти в давнем дому.
С немилым жила она мужем.
Хозяин с утра — на базар,
Она же — одна, как в зиндане,
Суровый закон заказал
И с собственной тенью

свиданье...

Атласом накройте сандал —
Теплее

не станет на сердце!

Одно развлечение — Халдар,
Забавный мальчонка соседский,

Но где же парнишке понять,
С чего она плачет всё чаще?
Ведь не на что вроде пенять
В дому — переполненной чаше!..
Куда бы он столько девал
Ковров,

и лежащих повсюду

Атласных цветных одеял,

И разной красивой посуды!
Но если бы дали ему
На выбор вещицу какую —
Одно бы он выбрал в дому:
Часы,

где кукушка кукует...
Пред ними он таял и ник,
Поглядывая то и дело!..

Хозяйка же вроде на них
И вовсе глядеть не хотела.
Как будто, давно сочтены,
Ей дни безразличны любые,
И только бы снять со стены
Двуструнный дутар свой любимый,
Присесть у сандала —

да так
Раскинуть цветастое платье,
Что, словно ребенок, дутар
У ней на коленях заплачет.
И билась, как лист на ветру,
Тоска в этих звуках такая,
Как будто меж стонущих струн,
Меж пальцев —
и жизнь утекала!..

Но мальчику со стороны
Лишь музыкой муки казались,
Видением дивной страны
Души его

звуки касались.
Он жил между явью и сном,
Внутри — словно звон комариный...

«А ну-ка попробуй, сынок», —
Тихонько она говорила.

Вот так он и начал.

Вот так
И стали послушными пальцы —
И плакать учился дутар,
И радостью рассыпаться.

Нужда одолела семью.
Не выросши, радость дряхла.

Медяк ли, другой ли...

Ну словно

Какое на славе пятно —

На славе

иль, может, на слове...

Жениться приспела пора.

Загадывал он, как и каждый:

Красавица, страсти полна,

В глаза ему глянет однажды!

И свах засылал на порог.

Но только позорились свахи:

Чуть скажут —

ну словно порок,

Его ремесло называли!

«Нет,

дочка еще молода...

Ищите других для Халдара...»

А то и отрежут когда:

«Таких только нам не хватало!

Не лучше ль ко вдовам зайти?

Попробуйте,

мир-то широкий...»

Женился он лет тридцати:

Стал долею нищей сиротки.

Шли дети...

Нужда да игра,

Видать, не дались ему даром.

Под сердце вонзалась игла

Всё яростней

с каждым ударом.

Однажды и вовсе он слег.

А слава былая не грела!..

Что было и гнева, и слез!

Да толку-то?

Жизнь догорела.

3

Семь лет проучился Салим —

И выпуск торжественный

скоро.

«Поеду,— сказал он своим,—

В Москву,

В музыкальную школу...»

Но в голос заплакала мать;
«Будь проклят тамбур твой!»

С улыбкой

Ответил: «Пора понимать,
Какой же тамбур? Это скрипка».
— «Сынок, да не всё ли равно?!
Ведь путь-то

один им загадан!

Учись хоть на грузчика, но
Не делайся ты музыкантом!
Ведь снова — отцова беда...»
Но проку от плача и воя
Немного.

И в наши года
Своею живут головою.
А этот — годов от шести
По-своему делал упрямо!..
Сказал, отвернувшись:

«Прости...»

Поеду. Поверь ты мне, мама...»

4

Гудит переполненный зал.
Торжественно входов зиянье.
Цветут ожиданьем глаза,
Как белые люстры,—

сияньем.

И вот настает тишина.
Как миг этот страшен — и сладок!..
И занавеса стена
Уходит десятками складок.
Кому он не принадлежал,
Простор тот,

до времени скрытый!..

Теперь в нем стоит Салимджан
С диковинной птицею — скрипкой.
Мгновенье — и птица поет!
И в песне — мечты утоленья,
В ней радости слышен полет.
Задумчивой грусти томленья.
И счастьем дарит она,
Мгновенным

и сладко-огромным!

И снова встает тишина —

И мощным взрывается громом...
Кому же на сцене пустой,
Сквозь памяти занавес старый,
Визгливый мерещится той
Да горькие вскрики дутара?
И стынет кровавый закат
Над песней, что жизни дороже,
И нищий бредет музыкант
По черной и пыльной дороге...
О чем он мечтал

и о ком

Дутар и не ведал кричавший —
Исполнил волшебный смычок,
На сцене сейчас отзвучавший!..
...Пред кем это в зале опять
Картины былого воскресли?
Сраженная радостью мать
На бархатном съежилась кресле,
Следи же за сыном своим!
Давно ли ты горе гадала?
Но ярко восходит Салим
Над нищей звездой Халдара.
И так же,

светла и стройна,
Свершений невиданных чая,
Встает молодая страна
Над собственным прошлым

печальным,

1937

но словно вихорь землю заметал —
всё забирал жестокий заминдар.

Вот и бредет Зафар за удобреньем,
чтоб хоть земля была чуть-чуть добрее,

коль уж смягчить помещика — никак
не скопишь силы в нищенских руках!

...Пусть гонит солнце к уголкам тенистым —
он не один на том пути тернистом:

там на дорогах множество ребят —
везде лохмотья пестрые рябят!

Не зная игр, бредет ребенок-робот.
Нужда их грабит,
жар и холод гробит.

Идет, идет, идет навстречу вам
растерзанный ребячий караван!..

Но пусть уж дни пустым сияют днищем —
всего страшнее стать Зафару
нищим:

их множество. Куда ни поспешишь,
повсюду шепчут иль вопят:
«Бакшиш!..»

Немытой стайкою бредут без крова.
Увянувшие личики бескровны,

корой на теле засыхает грязь...
В глазах и слезы не блеснут, искрась!

На свете нет у них иных пристанищ —
лишь где с рукой протянутою станешь.

И, городской смяты суетой,
ладошек ложки тянут за едой!

В голодных ртах она — как в рваных ситах...
Но нет и капли жалости у сытых:

при виде этой бедности и бед
у них в глазах не меркнет белый свет!

А между тем на поле зреют злаки,
со щедрой ветки плод свисает сладкий,

златой земле трудов своих не жаль:
три раза в год дарует урожай!

Так отчего же, к ночи бездыханен,
здесь с каждым годом —
всё бедней дехканин?

Глухой кишлак,
прославленный Лахор —
с усердьем равным
множат нищих хор!..

2

Как бесконечна нищая охота...
Зафар, усталый после перехода,

вдруг видит: впереди в сухую пыль
девчушку окунул автомобиль!

Шурша, промчалась пышная резина,
Упала наземь тощая корзина.

Девчушка поднимается в слезах:
весь высыпался
собранный кизяк!

Тряпье на ней, а выглядит опрятно.
«Не плачь... не плачь! Мы сложим всё
обратно!..»

И, взявшись за руки, они бредут —
два стебелька, что листики сплетут...

Их речи гомон заглушает птичий,
в лицо лучи палящий полдень тычет,
листва то с ним пошепчется,
то с ней —
но каждый шаг связует их тесней.

И каждое промолвленное слово
друг к другу их сердца толкает снова!

Он ей — как брат, она ему — сестра...
«Меня зовут Зафар...»
— «А я — Захра...»

Ей, видно, семь всего. Глаза газели.
В них — смесь недетской горести с весельем:

то стынут,
то сверкнут, как у зверька...
В носу блестит дешевая серьга,

а гладь волос — на косы неразъятым,
бесшумным низбегают водопадом!

Такой у них не встретишь в кишлаке...
Он смотрит искоса, рука в руке:

«Откуда ты?» — и не отводит взора.
Она смеется:
«Я-то? Из Лахора...»

«Ты кре-епкая! Вон сколько уж прошла!..»
Захре приятна эта похвала:

он кажется ей смелым и красивым,
соединеньем и ума и силы!

А от Лахора и до кишлака
дорога ведь, и правда, далека...

«Сперва, конечно, нелегко, и жарко,
но я привыкла: я же горожанка!

У нас в домах — таких, как я живу, —
еще душней в такую вот жару...

А мой отец (он добрый! даже очень!)
на фабрике работает рабочим.

Ну, знаешь, там, где парашюты шьют!
Из шелка круглый — видел парашют?..

У нас в семье не родился бездельник —
все трудимся! А вечно нету денег...

Зимой и летом бьемся так и сяк...
А в холод вместо угля —
жжем кизяк!..»

«Выходит, голод
вас в деревню гонит,—
сказал Зафар,— а нас толкает в город?

И раз я бедный — значит, я найду
одну беду,
куда я ни пойду!..»

Они идут по пламенным дорогам.
Зафар вздохнет, Захра ответит вздохом.

Песок как сковородка раскален.
Дрожит жара между стволов-колонн.

В любом часу, в любое время года
так красочна индийская природа!

Но как ни пестр индийский яркий день —
от четко делится
на свет и тень...

И здесь, в пути, встречает их ограда
огромного помещичьего сада.

Как золото, сводящее с ума,
всю землю в нем усыпала хурма,

под крышей пальм, торчащих вверх, как трости,
банановые гроздья гроздья...

Весь дивный сад — прекраснее поэм!
Захра вздыхает:
«В праздник их поем —

отец мне купит целых два банана!
Покрепче только попросить бы надо...»

«Придумала, чего ей пожелать!

По мне лепешку лучше пожевать!—

еда хотя бы чувствуется в глотке...»
— «Ага! Лепешку — и еще похлебки...»

А сад из-за ограды, наконец,
являет им прекраснейший дворец —

такой, что враз и не окинешь оком!
И звуки музыки плывут из окон,

а среди зелени — вон там! вон там!—
цветы хрустальные вознес фонтан:

какая сила их колеблет хитро?..
«Ну что, видала? Это ж дом сагиба!

Хозяин всем и пашням, и лесам...
Да вон он — погляди — гуляет сам!

Куда ж ты смотришь? Вот он — видишь, слева
мелькает темя пробкового шлема?..

Он хуже зверя! Вот уж сколько лет
его тут кличут «тигр-людоед»!

Старик уже... а мы живем, не чаем,
когда умрет проклятый англичанин.

Да только мой отец махнул рукой:
умрет один — появится другой...»

Пора заката. И тоска запала
в сердечко утомленное Зафара.

День на исходе ускоряет шаг,
давно уж время повернуть в кишлак.

И он грустит: скорей всего, не скоро
увидит вновь подружку из Лахора!

Зачем судьба свела их невзначай?..
«Прощай, Зафар!»
— «Захра, прощай! Проща-ай...»

Пожаром грозным отпылало небо.
Зафар пришел в кишлак, когда стемнело.

Дома, похожие на шалаши,
косились хмуρο на него в тиши.

Пришел и видит: в горести все трое —
отец и мать со старшею сестрою.

Как будто был здесь вражеский налет!..
Он понял вмиг: пришли взимать налог...

Беда над домом крылья растопорщит,
когда приходит этот страшный сборщик

с устройством странным в лысой голове:
увидит вещь — а сосчитает две!

Несытым взором словно прожигал он,
когда шагал по кишлаку шакалом.

И становилось всем не по себе,
пока искал он жертву послабей...

И в том дому, где злее правит голод,
звучал грубее этот жирный голос,

а голый череп яростней сверкал,
чем целое созвездие зеркал.

«Как долг платить, так вы: «Не наскреба-аю!..
Не наскребешь — возьму девчонку к баю!

Работать надо, а не баю-бай!
Иди к соседям, попроси...

Ступай!»

Но лучше бы за это и не брался:
напрасно в долг вымаливал,
напрасно

соседей нищих обходил отец —
пустым ушел от этих и от тех...

И вот опять шакал идет
с короткой
трясущейся покрашенной бородкой.

Он входит, взглядывает на мальчика —
и пальцем согнутым манит отца.

«Отдай мне парня! Вот коли отдашь — и
долг отпущу, добавлю денег даже!»

И, взяв Зафара за ухо: «Да, да!
Ты за семью не пожалей труда!»

Для их земного пороботай блага —
тебе за то
воздастся от Аллаха!»

Стоит Зафар. Сгустился в горле ком,
пошевелить нет силы языком.

Полны глаза застывшими слезами.
А все стоят, как будто их связали,—

отец, и старшая сестра, и мать —
ни крикнуть,
ни завывать,
ни зарыдать,

не вырваться из этой страшной власти,
тех рук не отшвырнуть
в тоске безгласной,

ответа
лживым не найти речам!..

.

«Прощай, Захра-а!..»
— «Прощай, Зафар!.. Проща-ай...»

4

Наряден город, где легла издревле
тьень куполов на стройные деревья,

на спрятанной булыжником земле —
нет места
нашей маленькой Захре!

Ей прочь спешить по жалким переулкам.
Там, в дымном доме —
длинном, темном, утлом,

где нищих трещин ползает змея, —
живет ее рабочая семья.

Там не к лицу величественный глянец —
туда ни луч, ни ветер не заглянет.

Лохмотья, тряпки, мусор, что ни шаг,
жильцы, как в муравейнике, кишат.

Темней пещер иные помещенья!..
Но в этом узком каменном ущелье —

дым вместо неба, вместо почвы грязь —
Захра на свет когда-то родилась!..

И после дня пути, где в изобилье
лучей палящих и горячей пыли,

она спешит, торопится домой —
как, впрочем, все: какой ни дом — да мой!..

Как каждый день спешила — так и ныне;
но нынче двор и дом совсем иные,

как будто всё переменяло масть..
В дверях, дрожа, ее встречает мать.

«Ох, доченька... Беда пришла неожиданно!..
К нам под вечер явились два жандарма,

отца схватили, ткнув в лицо ему
два кулака, — и увели в тюрьму!..»

«Ох, мама!.. — Злополучная корзина
опять на землю глухо заскользила,

и, толком не присевшая с утра,
упала и заплакала Захра.—

За что, скажи?!»

— «Не верь проклятым катам —
нет, он не враг стране. Он — враг богатым!

Тем, кто,
любого хищника лютей,
обманывал и обирал людей,

Тем дьяволам, что у родного края
его богатства, честь и свет украли!..

Но правда выйдет, как в тюрьму не прячь...
Не плачь, не надо, доченька!

Не плачь...»

5

Когда шаги жандармов отзвучали,
недолго ждал хозяин-англичанин:

семью рабочего он выгнал прочь
в бездонную сгустившуюся ночь.

Где зло — закон, там вся страна бессудна...!
Пожитки все, надбитую посуду —

всё уложили в небольшой мешок,
и груз ему
до горла не дошел!

И это всё, что скоплено за годы
сплошных трудов, отчаянной заботы!..

И, взявши сына за руку и дочь,
глота слезы,
- мать уходит в ночь...

В ту ночь, где —
в ближней тьме и отдаленной —
скитаются без крова миллионы,

стыдятся друг друга и стесняясь звезд,

а пламя горя плавит
воли воски!

Вдоль улиц бродят одиночки, семьи —
идут, пока не свалит сон на землю,

но лишь задремлют чуть, не чуя ног,—
разбудит их безжалостный пинок!

От бед и зол одна лишь панацея:
тюрьма, пинок да окрик полицейский!..

И мать не спит, и слезы по лицу
бегут, как по осеннему листу.

Нет больше силы
жить в извечных шорах!..
Не спит Захра, считает каждый шорох.

Дорожкой неотбеленного льна
к ней мост в ночи построила луна.

Какая непостижность в бледном диске!..
Подобен сказке мир ночи индийской,

но пропастью отчаянья разверст
за ночью подступающий рассвет.

Где отыскать им кров, еду, работу?..
Втрое страшней такой вопрос — ребенку!..

И коли задан — стало быть, страшна
красотами кишашая страна!..

Но вдруг забилося сердце, как от зова,
и речь Захре припомнилась отцова:

«Есть, доченька, иной на свете край,—
его скрывает горизонта грань,

но свет его, могучий и недавний,
доходит к нам,
одолевая дали!

ДЕВУШКИ

1

Декабрьский снег клубится над землей,
Поля, как смерчи, белые кругом.
Дорог безмолвие. Метели вой.
И сизый дым, и снег над кишлаком.
А в кишлаке тревожен каждый дом:
Старух томят предчувствиями сны,
У молодых сединки над виском
От «черных писем», от вестей войны,
Все, здесь живущие,— живут войной,
Одной заботою, борьбой одной.

И под одной из кровель кишлака
Сидели, дружный образуя круг,
У теплого сандала, камелька,
Пять девушек, веселых пять подруг.
Вчера с канала прибыли они.
Средь нелюдимых ветровых степей
Вели они канал, за днями дни
Копали степь железом кетменей.
С обветренною кожей лиц и рук,
Со славою вернулись пять подруг.

Как яблоки под солнечным лучом,
Сияют щеки розовые их,
Огонь играет ярким перстеньком,
Узорным шелком платьев дорогих.
Тепло июньское дарит сандал,
На крышу мягко упадет снег.
На скатерти пять расписных пиал,
Горячий чай — утеха из утех,
Лепешки свежие, изюм, джида —
Весь дастархан дехканского труда.

Час отдыха! Раздумья тихий час!
Игрой теней заполнены углы...

Шуршит в руках у девушек атлас,
Мгновенный блеск на кончике иглы.
Они платки бойцам в подарок шьют,
Они сплетают в праздничный узор
Цветы и листья, что весной растут
В родных садах, среди полей и гор.
Тем, что в боях идут сквозь дым и кровь,
Отчизна шлет свой скромный дар — любовь.

И, неустанно двигая иглой
И не сводя с узоров глаз своих,
Беседуют подруги меж собой
О подвигах недавних трудовых.
И вот — гора пустынная встает,
Землянок гнезда на крутой горе,
Степной буран, и пыльный небосвод,
И красный флаг на розовой заре,
И гулкий шум народного труда,
И степь, в которую придет вода.

...Как ранним утром ухает карнай
И кетмени — что молнии! — блестят,
Как, поджигая темной ночи край,
В костре багровом угольки горят...
О, бульканье кумгана на костре,
Домбра в руках у старого певца!
И шутки вслед умолкнувшей домбре,
И песням нет начала и конца!..
И девушки вдруг видят перед собой
Огонь костра, землянку под горой.

Вздохнут они... А снова речь пойдет,
И в каждом слове — сдержанный намек.
Грустят о тех, кто писем им не шлет.
Молчат о тех, кто дорог и далек.
К войне невестой Назмихан была,
Ее джигит уехал раньше всех.
Тугие брови, словно два крыла
Пугливой ласточки, взлетают вверх.
В день свадьбы призван на войну джигит —
Жена ль, невеста ль? — Назмихан грустит,

У Алтыной глаза черным-черны,
А щеки блеклы, будто бы больна.
Задумчиво разгадывает сны

И носит платье темное она,
За молчаливость и за простоту
Ее «старинной девушкой» зовут.
Ну а Дильбар молчать неспособна,
Всех озорней она, смешливей тут.
Она сверкает ясной красотой,
Вся так и брызжет силой молодой.

Дильбар искусно пляшет и поет,
Как соловей, дутар в ее руках.
Ее артисткой Алтыной зовут,
Театр давно живет в ее мечтах.
А сердце девушки стремится вдаль —
Ее джигита призвала война...
Чуть помоложе будет Айджамаль,
Что круглолица, как сама луна.
И пышнотела, и крепка она,
Огонь — в работе, а в речах скромна.

Все «Кыз-палван» ее зовут вокруг,
Иначе — девушкой-богатырем...
Гульшан моложе всех своих подруг.
Приветливая, с розовым лицом,
Она в чудесной утренней поре,
В поре надежд, четырнадцати лет.
А встанет самой первой на заре,
Прилежнее ее на поле нет.
Работает, смеется день-деньской,
Полна веселой, детской хитрецей.

И вот во двор выходят пять подруг,
Буран утих. И на небе светло,
И звезды ярки-ярки... А вокруг,
Куда ни взглянешь, — всё белым-бело.
И девушки бегут; сверкает снег,
Шуршит, звенит... И на снегу — следы.
Дильбар опять хохочет звонче всех:
Слепив снежок, чтоб кинуть до звезды,
Им попадает в щеку Алтыной,
А та — в ответ. И завязался бой!

В снегу — калоши, в воздухе — платки,
Снежки, снежки. И беготня, и крик!
Но вот хрустят по улице шаги,
Ворота скрипнули. Вошел старик.

Гульшан навстречу бросилась скорей
И деда обнимает у ворот.
Приглаживая волосы, за ней
Смиренно стайка девушек идет.
«Тургун-ата! Как съезд? Ташкент какой?»—
Подруги говорят наперебой.

«Я очень много нового привез,
Об этом будет длинный разговор.
Замерз я, девушки, совсем замерз,
Для разговоров ли холодный двор?
Нет, раньше — чай, а разговор — потом»,—
Старик подругам тихо отвечал.
И все вошли в уютный, теплый дом,
Где чайник пел, где жарко тлел сандал.
Старик к сандалу ноги протянул,
Чай отхлебнул, на девушек взглянул.

Тихонько те вокруг него сидят,
Как пред рассветом стая тихих птиц.
Прилежно ждут, почтительно молчат,
Не шевеля опущенных ресниц.
Еще взглянул он глаза уголком,
Улыбка вспыхнула в усах седых,
Оставил чай: «Ну ладно! О таком
Не промолчишь минуты среди своих.
Откройте, дети, юные сердца
И старого послушайте отца.

Да... разговор большой происходил,
Народ речист, умеет говорить!
А солью разговора хлопок был —
Как нам его побольше получить.
Народ на дело доброе готов,
В Центральный Комитет письмо послал,
От имени хлопковых мастеров
Единодушную он клятву дал.
— «Что? Клятву?»— Стукнули сердца на миг,
«Большую клятву!»— повторил старик.—

И я сказал на съезде речь мою,
Сказал друзьям, что семьдесят мне лет
И семьдесят я центнеров даю,
За год — по центнеру. Вот мой ответ!
И сразу загремел огромный зал!

Весь съезд стоял и хлопал старику.
Гульшан! Я сына нынче заменял:
Сын на войне, я в поле помогу...
Ах, был бы жив! Храни, аллах, его,
Бесценного орленка моего!»

И медленная, крупная слеза
По стариковской бороде ползет.
Сочувственные девушек глаза
Опущены. И тишина растет.
И, губы закусив, сидит Гульшан,
В раздумье долгое погружена.
И вдруг мгновенно выпрямила стан
И молвит тихо девушкам она:
«Я — к председателю!» А те: «Постой!
Мы тоже к председателю с тобой!»

В правлении без умолку стучит
На счетах старых счетовод кэсой.
И председатель-великан сидит,
Приглаживая волосы рукой.
«Большую клятву ты от нас бери!—
Гульшан сказала.— Слушай голос наш!»
А председатель: «Прямо говори —
По сколько центнеров с гектара дашь!»
— «Сто центнеров с гектара — мой ответ».
— «Сто... Сто, сто, сто!»— все девушки вослед.

И встал, заулыбавшись, исполин,
До потолка доставши головой.
Как тополь возле снеговых вершин,
Пирамидальный тополь вековой.
«О ласточки мои! Взлетайте ввысь!..
Пяти вам — пять гектар. Одним звеном
Работайте успешно, как взялись,
Мужая сердцем в подвиге святом!»
Гульшан он старшею в звене назвал
И руку каждой девушке пожал.

2

Едва рассвет забрезжил в небесах,
Подруги на поле свое пошли,
В рабочих куртках, в грубых сапогах
Стоят они среди своей земли.

Открыто поле с четырех сторон,
Всё в прошлогодних хлопковых кустах.
Кусты скрипят. Снег черен от ворон,
Купающихся в утренних снегах.
Сказать-то «пять гектар» легко... Взгляни,
Как велики, пустынные, они!

Когда-то добрая земля была,
Но высохла, сулила недород:
Всего по десять центнеров дала
Она с гектара за последний год.
И вот подруг нетерпеливых пять
В сугробах снежных роются зимой,
Решивши землю эту оживлять
Своим трудом и пламенной душой.
И говорят друг другу старики:
«Ну, девушки! Ну, передовики!»

Но нелегко им, передовикам,—
Попробуй выдерни своей рукой
Все стебли те, примерзшие к холмам,
Взрыхли покров тяжелый ледяной.
Тяни и падай! Руки обдирай!..
Пусть на морозе замерзает кровь,
Усталости своей не выдавай
И за работу принимайся вновь...
К полудню прояснились гребни гор,
И девушки тогда зажгли костер.

Их обогрела чая пиала,
И молодость опять кипит ключом,
Растет настойчивость... А даль бела,
Как будто бы набухла молоком.
Открылось поле за вершком вершок,
Все стебельки повыдраны из гряд.
Устали девушки, не чувт ног,
Их щеки, разрумившись, горят.
И вот уж вечер, тихий, снеговой,
И председатель их зовет домой.

А ночь прошла, как будто не была.
И солнце — ясное, без облаков.
Нагрелся воздух от его тепла.
И птичий свист, и таянье снегов...
Земля взбухает, корни влагу пьют,

Пар, как весной, струится на заре.
Бывает, и фиалки зацветут
В узбекистанском нашем декабре.
Хоть скинь пальто! Но уж привыкли мы
К причудам нашей взбалмошной зимы.

В такой пригожий, будто вешний, день
Решили поле девушки взрыхлить.
Тяжел землей облепленный кетмень,
И ног из глины вязкой не поднять.
Кричат они: «Давай держи, тяни!»—
Прилежно трудятся во весь размах.
Все глиною измазаны они,
Грязь на лице, на черных волосах.
Так девушки зимы капризный нрав
Перехитрили, поле раскопав.

Еще в один из зимних дней Гульшан
Своих соратниц подняла чуть свет,
Припомнивши совет, что дедом дан,
Узбекских старых мастеров совет:
«Когда земли твоей достаток мал —
То старая земля придаст ей жир.
Дувал увидишь старый — рушь дувал,
И урожаю удивится мир...»
Решили девушки дувал снести,
Чтоб удобрение в поля внести.

«От Навои дувал остался мой —
Как камень стар он, как железо тверд!»—¹
Устало улыбнулась Алтыной,
Со лба крутого вытирая пот.
«Дувал и пушкой не разобьешь!»—
В ответ сердито говорит Дильбар.
«Нет, разобьешь и хлопок соберешь...
А ну, удар! А ну, еще удар!»
Бьет кетменем дувал Джамал-палван,
Но не сдается старый великан.

Как цемент, глина древняя тверда.
Работают подруги до зари,
И на руках от тяжкого труда,
Как коконы, взбухают пузыри.
Но вот дувал упрямый превращен
В большие комья золотой земли.

На легкую арбу положен он,
И вот ишак скрывается вдали.
За ним Гульшан дорогою идет,
И месит грязь, и радостно поет!

Ишак, однако, портит все дела!
Он спутником певца Машраба был
В Кашгаре, в Индии, но норова осла
До наших дней, увы, не изменил —
Упрям и глуп! Вдруг встанет, заревет,
Хоть бей его, хоть приласкай его,—
Как каменный! И ухом не ведет,
В глазах тупых не видно ничего...
Гульшан, бывало, плакала над ним,
Над спутником бессмысленным своим.

А то арба сломается — бегом
Летит Гульшан в кишлак, кляня судьбу,
За проволокой или за гвоздем,
Игрушечную починить арбу.
Смеются девушки: «Эх, командир!
Ну, что арба? Перенесем в мешках!»
Они поссорятся. И снова мир,
И носят глину на своих плечах.

Земля взяла два глиняных холма,
Она насытилась. Прошла зима.
Она прошла! И аистовый снег
На белых крыльях птицы принесли,
Уселись в гнезда на виду у всех
Оберегать простор родной земли.
Подснежники желтеют там и тут,
И вдоль тропинок, снеговых вчера,
Лиловые фиалочки цветут.
На улицах, на крышах — детвора.
Она с утра стрекочет и поет:
«Вернулись аисты! Весна идет!..»

Звучит в ушах бесхитростный мотив
Весенней детской песенки простой...
Летит пушок желто-зеленых ив
Над горною зеркальной рекой.
Гнездом увенчан минарет опять,
Огромным, с целый воз величиной,
На нем удобно аисту стоять

И днем и ночью на ноге одной.
А птицы в клювах к нам несут сюда
И песню и былинку для гнезда.

Весна вдыхает воздух золотой,
И видно, как вокруг растет трава.
Уж тополя украшены листвою,
Уже глубока неба синева,
И, наконец, в степи зардел тюльпан,—
Сорви его, скорее в косу вдень!
И переносятся ковры чайхан
На ветерок, где солнышко и тень.
И в арычках поет на все лады
Волшебная мелодия воды.

А небо было ясным, отчего ж
Закрылась черной тучей вышина
И хлынул дождь? Откуда взялся дождь?
Всё шутишь ты, проказница весна!..
Мы под навес стараемся удрать,
А дождь за нами скачет по следам.
И, значит, время лозы раскрывать
По виноградникам и по садам.
Как весел танец струек дождевых,
И как приятно беспокойство их!..

У девушек же наших пятерых
Что день — то больше дел. И все важны.
Отдав посевам силу душ своих,
Они почти не видели весны.
Но вот и трактор на поле пришел —
Замена верная рабочих рук.
Его гуденьем огласился дол,
Был праздником запашки первый круг.
Вспахали всё. И вспашка глубока.
Земля лежит рассыпчата, мягка.

3

Вот гряды ровною идут чередой,
Гульшан наверх взглянула: журавли!
Она им машет радостно рукой,
Она весну почуяла вдали.
«Летите, милые, на запад вы,
Туда, где наши воины в боях.

Хоть луч один узбекской синевы
Снесите им на ласковых крылах,
Привет снесите моему отцу!»
Слезинки льются по ее лицу.

На журавлей взглянула и Дильбар,
Глядит и глаз не может отвести,
А сердце рвется, как степной пожар,
Тропинкой журавлиного пути.
Но это тайна. Потому она
Нахмурилась, себя превозмогла.
Она к Гульшан склонилась, нежна,
И узенькие плечи обняла:
«Не плачь, подружка! Твой отец придет,
Победу нам и радость принесет».

Но за работою в мечтах Дильбар
Всё лето прошлогоднее встает:
Томит поля полдневный душный жар,
Дильбар одна в саду урюк трясет...
Пригнула ветки гибкие она,
Качнула дерево. Как град, урюк
Посыпался. Земля уж не видна,
Лишь золото румяное вокруг.
Взглянула вниз — и смотрит не дыша:
Под деревом стоит ее душа.

Стоит Урман, красавец молодой,
Колхозный табельщик и музыкант,
Известный силою и прямою.
Ко всем занятиям у него талант:
В машину сядет — боевой шофер,
Возьмет ружье — без промаха стрелок,
Заговорит — приятен разговор,
А сам хорош — и статен и высок.
И он, Урман, раскрыл объятия ей,
Чтоб снять красавицу с тугих ветвей.

«Как вам не стыдно! Что за озорство?!
Я брошусь на землю...» — «Красавица,
постой!

Искал я всюду следа твоего,
Как гончая, я гнался за тобой!
Мне в руки на земле ты не далась,
Не отпущу теперь. Не обессудь».

Подобен молнии взор черных глаз,
Как лето, пышет молодая грудь.
И не на землю — в плен горячих рук
Скользнула девушка безмолвно вдруг.

О сердце! Кто поймет и объяснит
Причуды и превратности твои?
От тени юноши Дильбар бежит,
Сгорая от смущенья и любви,
А убежит, останется одна —
И кается, и смотрит на порог,
Следы его идет искать она
В траве лужаек и в пыли дорог.
Смеются очи, очи слезы льют,
И все дороги к милому ведут.

И как-то раз на поле провела
Дильбар три вечности — три долгих дня...
И ночь июльская ее несла
На светлых крыльях лунного огня.
Как бы стремясь из темноты на свет,
Она спешила к счастью своему.
Джигита в клубе нет, в правление нет,
Так не нашла, так не дошла к нему...
Сказали люди, что джигит вчера
Ушел на фронт. Пришла его пора.

На запад пролетели журавли,
Гонцы весны и девичьей любви.
И гряды свежевзрыхленной земли
За ними вслед ведут ряды свои.
А гряды нужно напоить водой,—
И девушки взялись за кетмени:
Арыки чистят, вёрсты за верстой
Идут по руслам глинистым они,
От черной грязи освобождено,
Как обливной горшок, арыков дно.

И время сева наконец пришло —
Скорей, скорей! Ведь коротка весна!
Но со скотом рабочим тяжело,
И медленно подвозят семена.
Балта-ака средь девушек стоит,
На землю смотрит — хороша земля!
«Земля такая золото родит,

Скорее сейте, пусть не ждут поля.
За эту землю, дорогие, вам
Я лучшего коня в колхозе дам!»

Он дал гнедого иноходца им,
Коня-красавца, молнию-коня,
А сам-то лишь по праздникам большим
Скакал на нем, жалея и цена.
И вот бежит прославленный гнедой,
На солнце шерсть атласная блестит,
Земли едва касается ногой...
А на гнедом коне Гульшан сидит!
Кричат подружки: «Упадешь, джигит!»
А конь стрелою по полям летит!

Ах, эти дни! Людской горячий пот
Пьет ненасытно вешняя земля.
И зернышко за зернышком течет,
Жемчужина жемчужину зовет,
Коричневую землю шевеля.
Жемчужно-серое растет зерно,
Младенческого трепета полно,
Вздыхает сонно и тепло оно...
Встают из тьмы зеленые ростки,
Неспешно расправляют лепестки.

О радость долгожданная, когда
На поле всходы первые взойдут,
Нежно-зеленые ростки труда,
Твоей рукой посаженные тут!
Смотрите, девушки! Поля других
Еще пустые, темные лежат,
А ваше поле, как зеленый стих,—
Уже в узорных ровных строчках гряд.
И журавлиным строем, наливной,
Стоит хлопчатник, вскормленный весной!

4

В осенний полдень под карагачом
Подружки загорелые сидят,
Играют листья солнечным лучом,
Далёко где-то иволги кричат,
И пишут письма в солнечной тиши
Гульшан с Назми, головки наклонив,

Ждут очереди на карандаши
Подруги, взоры в небо устремив
Гульшан тихонько переводит дух,
Свое письмо она читает вслух:

«Салям, отец! На хлопковых полях
В сто центнеров даем мы урожай,
Ты сто фашистов истреби в боях
И поскорей с победой приезжай!»
Все одобряют. Карандаш берет
Дильбар, закрывшись от лучей рукой,
Она письма подругам не прочтет...
Слова, как жемчуг, нижез Алтыной,
Как аисты, несущиеся вдаль,
Летят большие буквы Айджамаль.

И девушки, надеждою полны,
Тревоги черной отгоняют тень.
Кругом — поля зеленые весны,
Исполненный тепла и света день.
И в зеркальце лучи весны блестят,
На солнце ежатся пучки усмы.
Подруги строго в зеркальце глядят:
«Как похудели, почернели мы».
А так свежи они, так хороши,
Что хоть сейчас картину с них пиши!

Усмы зеленый застывает сок,
Темнеют стрелы тонкие бровей,
И ярче розы загорелых щек,
И глубже звезды черные очей.
Щебечут девушки... По полю к ним
Сам председатель их, Балта-ака,
Широкоплечий, шагом строевым
Идет в сопровожденье старика.
«Привет, друзья! Мы хлопок обошли
И лучшего в колхозе не нашли!»

Красавицы краснеют от похвал
И помощь предлагают старикам.
Старик — сурово: «Сам я клятву дал,
И выполнить ее сумею сам».
Тут председатель молвил: «А по мне,
Товарищи, уж если помогать,
Так лучше семьям тех, кто на войне.

За это будут вас благословлять!>
Так порешивши, девушки встают
И во дворы дехканские идут.

Мала усадьба бабушки Мастан,
Но внуков и сирот полным-полна.
Под тяжестью годов согнулся стан,
Но всё в работе, в суете она.
Узнав, зачем пришли подруги к ней,
Она заплакала, всё поняла,
Засуетилась, стала веселей
И землю им показывать пошла.
Идет старуха, посохом стучит:
«Ах, доченьки! Вас бог благословит!»

Кипит работа, льется разговор,
И гряды, гряды под рукой растут.
А бабка с посохом, как дирижер:
«Вот тут — горох, фасоль, а дыни — тут!
А у дувала — тыкв корней пяток.
А там, в сторонке, — можно джугару!..
Вот так работал мой солдат-сынок
На огороде этом поутру.
Ведь он сегодня мне приснился — ах! —
Веселый, полный, с саженцем в руках...»

Так день прошел, за ним прошел другой.
И день за днем немолчная хвала
Сердечной благодарности людской
Вслед девушкам по кишлаку текла..
Похолодало... Небеса темны,
Угрюмы очертанья туч седых..
Сердца подруг тревогою полны:
А вдруг мороз — погибнут всходы их!
Заиндевет, склонится у ног
Хлопчатник ранний, нежный, как цветок.

А ветер дует с островерхих гор,
Студеный, словно проглотивший лед.
Гульшан не сводит с неба горький взор —
Не предвещает доброго заход.
Подругу утешает Айджамаль:
«Не плачь. Уж если хлопок наш умрет —
Засеем снова. Разве сил нам жаль?
И разве легче слезы лить, чем пот?..»
А хлопок просит помощи у них

Тревожным шелестом листков своих,
И старенькая бабушка Мастан,
На сумрачное небо посмотрев,
Идет с клюкой, сквозь ветер и туман,
Кряхтя, обходит хлопковый посев.
«Эх, девушки! Не слушались молвы!..
«Коль поспешишь — то мужа не найдешь», —
Так говорит пословица. А вы
С посевом поспешили... Ну и что ж?
Бывает, средь зимы цветет урюк,
Но вслед за этим — холод стукнет вдруг!»

Подруги скромно отвечают ей:
«Да, бабушка. Был риск известный в том,
Но поддержал нас мастер всех полей,
Ученый наш, районный агроном».
— «Как вы сказали? Имя не пойму.
Тот, что по книгам знает все дела?..
Спросить бы можно деда... Да ему
Мать разума с рожденья не дала,
Слыл недотепой он всегда у нас,
Мне смолоду подмигивал не раз...»

Веселый смех раздался ей в ответ,
Угрюмые просторы огласил,
А бабка вновь: «Я принесла совет.
Покойный свекор как-то говорил:
«Коль заморозок налетит, как вор,
На поле хлопка раннею весной,
Скорее надо развести костер,
И теплый дым согреет хлопок твой».
Я, доченьки, у вас в большом долгу.
Вы помогли, и я вам помогу».

И вот в ночи морозной ветровой
Подруги хворост, торопясь, несут,
И вот уж он лежит холмом, горой...
О, если б знать, что не напрасен труд!..
Кругом безмолвие, густой туман,
Хруст хвороста, усталый лай собак...
Объятая тревогою Гульшан
Глядит, как к полю подползает мрак.
О, если б кровью отогреть своей
Рядки продрогших хлопковых стеблей!

Вот разжигают девушки костер,
И тучей стелется по полю дым.
И воет, воет ветренный простор,
И дышит ночь дыханьем ледяным.
Дым ест глаза. Сквозь слезы на огонь
Глядит Дильбар. Ладонь ее в крови.
Как перевал переваливший конь,
Чуть движет ноги Айджамаль свои,
И Назмихан с угавшей Алтыной
Палят костры на стороне другой.

Ущербный месяц всходит в небесах,
Плывет над полем, смутен и суров.
И тень, колеблясь в месяца лучах,
Безмолвная, нисходит с облаков.
И люди движутся к костру сквозь ночь,—
Старухи, ребятишки, вдовы тут.
Все говорят: «Мы вам пришли помочь»,
В огонь охапки хвороста кладут.
Старуха шепчет: «О аллах, внемли —
Смерть Гитлеру и благо нам пошли!»

И вот рассвет! «Скорее, дым, скорей!»—
Подруги озабоченно кричат.
Клубится дым, клубится дым сильней,
Чихают люди, кашляют, хрипят,
А дым растет! Покрыл всё поле он
Густою, теплой тучею своей;
Темнеет и темнеет небосклон,
Но вот и вспышки первые лучей!
Вот в золотистой дымке тополя,
И дышит солнечным теплом земля.

И девушки всё поле обошли,
Любовью и волнением горя,
Пред всходами склоняясь до земли,—
Растенья живы! Хлопоты — не зря,
Опасность миновала... Все в золе,
Растрепаны, от копоти черны,
Стоят они на розовой земле,
Зарею золотой озарены.
А небо сине, а тепло растет...
И как прекрасен солнечный восход!

Дочь солнышка, красавица весна,
 Идет, струя одежд зеленый шелк.
 Черешням краску с губ дает она,
 А яблокам — румяна с алых щек,
 И не дурнеет... Пробует на вкус
 Тутовое варенье и урюк,
 Играет связками вишневых бус,
 Весенних вод настраивает звук.
 А солнце — жарче. Всѣ длиннее дни.
 И лето пьет зеленый чай в тени.

А девушкам прохлады не искать:
 Пора окучки — жаркая пора.
 Им нужно гряды поскорей взрыхлять,
 Они на поле с раннего утра.
 Опять в тяжелых сапогах они,
 И косы скручены на лбу венком,
 Опять в руках мужские кетмени,
 И пот со лба стекает родником.
 И хлопок в блеске синей высоты
 Раскроет скоро первые цветы.

Пленяет поле всех прохожих взгляд,—
 Осмотрят, обойдут его кругом,
 И с одобрением все говорят,
 Что золотым оно дано трудом.
 И секретарь райкома приходил,
 Как старший брат, заботлив и умен,
 Он с девушками гряды обходил,
 И завязи считал, довольный, он;
 И наставленьем был его совет,
 И поздравленьем прозвучал привет.

Однажды летом сумерки пришли,
 И потускнел зеркальный небосклон,
 Тяжелый зной струился от земли,
 Сверчки звенели, нагоняя сон.
 Задумчиво с работы к кишлаку
 Брела Гульшан дорогою большой.
 Остановивши лошадь на скаку,
 Наездник поманил ее рукой,
 Вручил пакет. Гульшан взяла его,
 Не удержав рыданья своего.

Зачем читать? Не прочитала, нет.
Проста была бумага и бела,
Но черной вестью прошуршал пакет,
Но смертной вестью эта весть была.
Отец, отец... По травам, по песку,
Не чуя под собою ног своих,
Гульшан бежит, бежит по кишлаку,
Не узнавая улочек кривых,
Как одержимая, бежит в слезах,
С бумагою в протянутых руках.

«Что за беда?»— Балта-ака кричит,
Навстречу горестной Гульшан спеша.
Она разжала руку. Он глядит.
Листок бумаги падает, шурша.
Бумага та известна. Он не раз,
Уже не раз такую же видал...
Не поднимая потемневших глаз,
К своей груди он девушку прижал
И гладит голову ее рукой,
Давясь мужскою трудною слезой.

«Не плачь, Гульшан, не плачь,— он говорит,—
Что сделаешь, когда идет война?
Не ты одна, а весь народ скорбит,
Ты не одна,— с тобою вся страна.
Будь мужественна. Слезы оботри.
Будь терпелива!.. Время пусть пройдет.
Домашним ничего не говори,
И, может быть, домой отец придет...»
Гульшан кивнула молча головой
И зашагала медленно домой.

А матери сегодня дома нет,
Лишь старый дед согнулся на супе,
Блестит кругом беспечный лунный свет...
Луна — в воде, на листьях, на тропе.
Гульшан боится шевельнуться — вот
Движеньем резким выдаст злую весть.
Берет котел, сухой валежник жжет,
Чтоб старику горячего поесть,
Чтоб дедушка, оставшись без еды,
Не удивился, не узнал беды.

Шурпа струит горячий аромат,
Старик, прихлебывая, говорит:
«Ну, доченька! А старики-то клад:
Удар руки их горы раздробит!
И на войне успехи хороши,
Победою окончим скоро бой...
Барана я зарезу, ты — пляши,
Устроим пир. Придет отец домой,
Придет джигит!..» Кивая в лад ему,
Гульшан, отворотясь, глядит во тьму.

6

На жатву утром девушки спешат.
Скрипит арба, взбираясь на курган,
Конь фыркает, подруги говорят,
Молчит о горе скрытная Гульшан.
Молчит Гульшан. Скрипит, скрипит арба.
Плывет дорога лентой золотой,
Ребят громкоголосая гурьба
В пыли по пояс мчится за арбой.
А впереди холмы. За ними — мать,
И, как ни трудно, надобно молчать.

Стоят деревья по краям пути,
Их ветви над дорогою — шатром,
И яблоки — не надо их трясти!—
В арбу румяным сыплются дождем.
И персик сладкий в руки сам летит,
И груша сочная... А дальше, в стороне...
Алча вся в желтых жемчугах стоит
Или джида в серебряном огне.
О, волны красок, неба синева!..
О, жизнь, которая всегда жива!

Из виноградников издалека
Трещат трещотки, звякают тазы,
Кричат дрозды, взирая свысока
На кисти розоватые лозы.
Плывет нежнейшей дыни аромат,
И джугара качает бородой,
На крышах груды коконов лежат,
Они, как снег, сверкают белизной,
И паруски летают мотыльков
Среди зеленых волн клеверников.

А вот и хлопок — пышная земля,
Широкий, шумный, многоцветный край,
Куда ни глянешь — всё поля, поля...
Подруги обсуждают урожай,
Прикидывают урожай на глаз,
Похвалят хлопок иль ругнут его,
Хозяйским глазом, острым как алмаз,
На поле не упустят ничего...
Всё, что цветет на поле по весне,—
Кайма цветная к хлопку — к сюзане.

Пошли холмы. Высокий перевал,
Опять холмы — куда ни кинешь взор,
А за холмами ярко заблистал
Полей богарных золотой простор,
И шалаши — верблюжие горбы —
Перед глазами путников встают.
Слезают тихо девушки с арбы,
Устало к этим шалашам идут.
Шумит в ушах горячий вихрь степной,
И щеки жжет неудержимый зной.

Гульшан лежит под ветхим шалашом,
Глаза ее устали и темны.
Они блуждают в небе голубом,
В дали чужой, неведомой страны.
«О чем тоскуешь? Не было ль письма?»—
Тревожно дочку спрашивает мать.
«О ком тоскую — знаешь ты сама,
Давай терпеть и о тоске молчать».
Молчат они о тайном, о своем,
И, может, легче им молчать вдвоем.

А тут Дильбар вбегает, весела:
«Что вы сидите в тишине одни?
Там Анзират мальчишку родила,
И мать и сын — как хороши они!..
Где бы умыться?.. Гульшаной, скорей!»
И в серебристых волнах родника
Сверкают звезды черные очей,
Узоры разноцветного платка...
Принарядившись и потупив взор,
Они идут к роженице в шатер.

В шатре лежит спокойно Анзират,
Глаза ее огромны и нежны
И, зоркие, за малышом следят,
Любовью материнской зажжены.
Уже купают женщины его:
«Расти счастливым, будь богатырем!»
Мужчины собрались на торжество,
Они расположились за шатром;
И Башак-баем — Колосом — зовут
Дитя, рожденное на жатве тут.

Озарена луной пшеницы гладь,
Волнуется, блистает, как прилив.
Идут жнецы гурьбой пшеницу жать,
Серпы свои до блеска наточив.
«А хороша небесная свеча!»
За ними молотильщики встают.
И стелется пшеница, как парча,
Там жнут ее, уже молотят тут.
И смех и песни... Так блестит луна,
Что на серпе зарубинка видна.

Шатер притихший освещен луной,
Уснул малыш горластый наконец...
«Желанный сын, любимый сын, седьмой,—
Не повидав тебя, ушел отец.
В боях отец, в боях твой брат, малыш!..»
И мать не спит, горит ее душа.
Шатер раскрыла. Лунный свет и тишь.
Как эта ночь степная хороша!
Она выходит тихо из шатра,
Идет по высохшей траве бугра.

А на току огромные волны
Кружатся... И соломы золотой
И серой пыли облака светлы,
Зерно течет янтарною рекой.
«Хай! Кто это? Зачем ты, Анзират!»
— «А я работать... С вами веселей!»
Но женщины роженицу корят,
А старичок кричит задорно ей:
«Иди сюда! Иди, сестрица, к нам —
Работай ты, я — грудь ребенку дам!»

Серпы сверкают у жнецов в руках,
Пшеница ровной стелется волной.
Не взмах серпов, а белых молний взмах,
И не пшеница, а простор морской.
Поют колосья под рукой Гульшан,
Все девушки работают равно.
И вот рассвет. Приходит караван,
И грузится отборное зерно.
И пахнут солнцем в косах колоски,
И громоздятся полные мешки.

7

А дома девушек хлопчатник ждет,
В коробочках зеленые ряды.
Уже полива время настает,
Но не хватает поливной воды —
Разрушена плотина на реке!..
...В заботу новую погружены,
Подруги на зеленом бугорке
Сидят среди вечерней тишины
И меж собою говорят, как быть,
Как поле, влаги ждущее, полить.

Поеживаясь, молвит Алтыной
(К ней лихорадка в этот час пришла):
«Пусть председатель ведает водой,
Не наши это, а его дела!»
— «О нет!— перебивает Назмихан.—
Все на родной земле дела — свои.
Мы орошали древний Учкурган,
Мы усмиряли волны Сыр-Дарья,—
Ужель речушки не осилим той?»
И девушки вступили в бой с рекой...

Порой рассветною пошли в поход
Пять девушек, пять воинов труда,
Вожатый седовласый их ведет,
Бурлит в овраге горная вода.
Играя дикой силою своей,
Река бушует, ярости полна,—
Швыряет груды серые камней,
Клокочет пеной белой она.
Тургун-ата идет, клюкой стуча,
Речным секретам девушек уча.

Вот рукава засучивает он,
Показывает, где плотине быть.
Взбирается на порыжелый склон
Кустарника побольше нарубить,
Чтоб опустить его на дно реки.
«Ну вот сюда! Кладите поплотней!»—
И вот уж покоряется река,
Летят охапки веток и камней,
Но кружит камни злой водоворот,
Охапка веток по реке плывет.

Тогда ступают девушки на дно,
И, друг за друга на ходу держась,
Цепь образует славное звено,
С течением стремительным борясь.
И вот уж покоряется река,
Обузданная каменной уздой,
И девушки довольны. С бугорка
Старик веселый машет им рукой.
Но вдруг плотину смыл седой поток,—
Волна летит, Гульшан сбивает с ног!

Все онемели, берегом бегут.
Кипит внизу водоворот седой,
Мелькнули в пене две косы. И тут —
Джамаль ныряет в воду за сестрой,
Плывет она... Но белогривый вал
Схватил ее и тоже поглотил...
И вдруг, с горы обрушась, как обвал,
Какой-то всадник в реку соскочил.
Хлестнул камчой коня на быстрине
И бросился наперерез волне...

На раскаленном от лучей песке
Лежат две девушки, белы как снег.
Их губы сини. Косы в тростнике
Запутались. И не поднять им век!
Склонился над Гульшан Балта-ака,
С него стекает струйками вода.
Конь фыркает, косясь на седока;
Хлопочут все. Мгновенья — как года...
«Жива ль Гульшан?»— вдруг молвит

Айджамаль.

Гульшан, вздохнув: «Плотина что? Цела ль?..»

Стоит плотина! И ревет река!
Проста плотина... Каменный настил,
Прибрежный хворост. А она крепка,
Она вобрала столько юных сил.
Она владеет горною рекой,
И ярость волн уже побеждена.
Арыки все наполнены водой,
Спокойно, весело течет она.
Родной колхоз и изумлен и рад,
И девушкам завидует Фархад.

8

О ночи лета! Как вы хороши!..
Когда над аркою карагачей
Зажгутся звезды в голубой тиши,
В глазах рябит от блещущих лучей,
А воздух — из вина иль из цветов...
В такую ночь Узбекистан родной
Как чаша, что искрится до краев
Кипящею земною красотой.
Приляг в беседке виноградной, друг,
Послушай ночь и погляди вокруг.

В такую ночь в душистом шалаше
Подруги оживленные сидят.
Блестит арык в прибрежном камыше,
Глаза девичьи весело блестят.
Пять дынь подруги принесли с бахчи.
Об землю их умело расколов,
Играют в ширинтаки средь ночи,
Отведывают, каждой вкус каков.
Не дыни — чудо! Каждая — заря,
У каждой тайна сладости своя.

А в ширинтаки выиграет тот,
Чья дыня слаще и других вкусней.
Подруги спорят: «Ну, моя как мед
С душистым сахаром!» — «Доспеть бы ей!» —
«Моя — гульканд!» — «Где вкус, подруга,
твой?»

— А ты? Где обоняние твое?»
Потом решают: дыня Алтыной

Вкуснее всех. И выигрыш — ее...
Трещат сверчки. И девушки встают,
Они сегодня на полив идут.

Дильбар на поле хлопковом одна
Средь пышных гряд и водяных полос.
То заблестит на кетмене луна,
То вспыхнет в завитках девичьих кос.
Темно-зеленой шелестя листвой,
Растения спокойно влагу пьют,
И волны вслед за плавною волной
Живым, певучим серебром бегут.
И девушка стоит среди гряды
Властительницей жизни и воды.

О нет, не лунные лучи, искрясь,
Соткали этот образ. Он земной.
Меся ногами глинистую грязь,
Дильбар идет по полю за водой.
Не отдохнуть — торопит шаг вода,
И воду девушка вперед ведет.
То, размываясь, рушится гряда,
То вновь под взмахами руки растет.
И трудно ей, и жажда горло жжет,
И воду девушка горстями пьет.

Она садится на сухой бугор,
А по ногам ее вода бежит.
И веет ветер запахами гор,
И песня тихо с губ ее летит.
И песня и мечта летят, звеня,
К любимому, далёко, на войну:
«Где ты сейчас? И помнишь ли меня?
И видишь ли ты в эту ночь луну?»
И девушку берут мечтанья в плен,
И голова касается колен.

Но чья-то тронула плечо рука:
«Устала, Дильбархон? Иди домой!»
Пред девушкой стоит Балта-ака,
Забрызганный до пояса водой.
«Я сам полью!» И засверкал кетмень
В его руках. И чавкает гряда...
На пыльной тропке — то лучи, то тень.

Дильбар идет. Журчит, журчит вода.
Ночь на исходе. Прячется луна.
Росистой мятой пахнет тишина.

9

Однажды, полдничая на горе,
Вкруг дастархана девушки сидят.
Кипит кумган на маленьком костре,
Бахчи струят полдневный аромат.
Арбузы, дыни, сочный виноград,
Лилово-черный, красный, золотой...
Дильбар подходит. И глаза горят,—
Лукаво что-то прячет за спиной.
«Что это? Еж?»—«Не бойся, Алтыной!
Ежа — в котел... Смотрите, еж какой!»

А в горделиво поднятых руках —
Коробочки раскрывшейся цветок
Сняет ясной белизной в лучах...
Ах, первый хлопок! Он похож на шелк,
На облачок кудрявое, на снег,
На солнце, озаряющее тьму!..
Вскочили девушки. И руки всех
Неудержимо тянутся к нему.
Дильбар кричит: «Давайте курмана,
Невеста эта мною найдена!»

«Мы — впереди! Еще поля кругом
Не раскрываются»,— ликует Алтыной.
Назми советует: «Пошлем в райком!»
Гульшан: «Конечно! Хлопок-то какой!
Все восемь грамм! Как щеки Айджамаль».
А та в ответ: «Как глаз твоих белок,—
С корзину, да?» Пылает солнцем даль,
Шумит листва... И хлопок под платок
Подруги прячут, чтоб вручить ему,
Секретарю райкома самому.

«Что ж, «Дочку капитанскую» прочтем?»—
И девушки уселись, присмирев,
И Пушкина на языке родном
Назми читает звонко, нараспев.
«Как хорошо читаешь, молодец!..»

И льется увлекательный рассказ,
Сопутствуемый трепетом сердец
И затаенным влажным блеском глаз.
И ловит сердце новые слова,
И вздохом начинается глава.

А вечером Гульшан со стариком
С фанерными дощечками в руках
Идут полями летними вдвоем.
Дощечки эти ставят на полях.
А на дощечках — красные слова:
«Победы хлопок». Хлопок шелестит,
В коробочки вмещается едва
И жемчугом рассыпчатым блестит.
И молвит дед: «Ты, девочка, права!
Прекрасны справедливые слова».

10

День первый сбора — праздник кишлака!
Заря встает из-за скалистых гор,
Идет старик «Счастливая рука»,
Он самым первым начинает сбор,
А девушки заходят по краям,
Они неутомимы и ловки.
По белоснежным хлопковым рядам
Мелькают разноцветные платки.
Охапки хлопка, груды хлопка тут,
Молочно-белые, растут, растут...

Проворство сборщиков, их мастерство
Не передать словами никогда.
Здесь рук неутомимых волшебство,
Здесь целая симфония труда.
Летают руки. Шелестят кусты,
Нет времени — есть поле и полет!
И, белая, до синей высоты
Уже гора из хлопка достает.
И солнце в пышном пламени лучей
Остановилось отдохнуть на ней.

Работают... Вдруг голос за спиной:
«Не уставать вам, земляки. Привет!»
Назми назад взглянула — кто такой?
И обмерла, в груди дыханья нет.

А тот, глазами повстречавшись с ней,
Тот тоже замер... А потом, потом
Швырнул мешок с поклажей своей
И бросился он к девушке бегом.
Солдата губы как огонь горят,
Целует щеки мокрые солдат.

Вокруг волнение... Родные, мать...
Слова свиданья — краткие слова,
Но если бы их в песню записать,
То вечно бы она была жива.
Мухамадьяр глядит как бы сквозь сон,
Чуть удивленно поднимая бровь.
В пилотке серой, запыленной он,
На гимнастерке — звезд багряных кровь.
Густая пыль лежит на сапогах,
И седина сверкает на висках.

Листочек хлопка он с куста сорвал,
Разгладил огрубелую рукой.
Взглянул, вздохнул. «Соскучился», — сказал
И старика увидел под горой.
Объятия раскрыв, старик бежит,
За ним народ — встречает удалца.
«Добро пожаловать, герой!» — кричит.
Джидою обсыпают у крыльца.
Назми глядит: хромает чуть герой,
Глядит, и это кажется красой...

А ночь пришла вся в звездах. Стая их,
С темнеющих просторов опустясь,
Вся уместилась на ветвях тугих,
В листе большой орешины светясь.
Горит фонарь над глиняной супой,
Вкруг фонаря летают мотыльки...
Мухамадьяр расскас заводит свой,
И слушают героя земляки.
Назми с подругами то здесь, то там
Прислуживают вежливо гостям.

Мухамадьяр, одетый, как жених,
В зеленый бекасамовый халат,
О буднях вспоминает боевых,
О подвигах рассказ ведет солдат.
И Днепр несет волны кровавый вал,

Как будто рядом, где-то за углом,
Сабир Рахимов, храбрый генерал,
Ведет полки в атаку напролом.
Орудья бьют в ночную высоту.
И все солдаты — на своем посту!

Чирикают на тале воробьи.
Мычит теленок. Первая арба,
Крутя колеса старые свои,
Скрипит дорогой... Уж рассвет, тавба!
Не довелось приедем поспать...
Ему постлали нынче одному —
Мать хочет свадьбу снова отыграть,
Солдат не спорит. Хорошо ему.
Так хорошо, что не приходит сон...
Выходит тихо из беседки он.

На нем рубашки белоснежный шелк
И стеганный узорчатый халат...
Коснулся ветерок горячих щек,
И травы под ногами шелестят.
Как непривычно в этой тишине!
И вспоминает он свою шинель,
Шинель, служившую ему в огне,
Обогревавшую его в метель...
А ветки тянутся со всех сторон,
В раздумии идет по саду он.

На этот тал мальчишкой он влезал,
А там в арыке пескарей ловил...
Он каждое бы дерево обнял,
Из каждого ручья воды испил!
А вот знакомец старый — милый клуб
Вздывает стены белые свои.
Как прежде, розы полыхают с клумб
И соловьи рокоуют о любви.
Он эти розы раньше поливал,
Солдатом из садовника он стал.

Идет солдат среди клеверняков.
Шуршит росистый мокрый изумруд...
Тут в детстве он ловил перепелов,
Косил поля с товарищами тут...
Эй, что это? Потокотом водяным
Между прорвало; он дорогой мчит,
А поливальщик, старый Мадраим,

Раскинув руки, на пригорке спит.
Солдат снимает праздничный халат,
И поливает клеверняк солдат.

Мухамадьяр смеется: не отвык!
Ему кетмень тяжелый по руке.
Журча бежит обузданный арык,
Восходит солнце в синем далеке.
Старик проснулся, отобрал кетмень:
«Иди, джигит, иди! Невеста ждет».
Сияющий, росой омытый день
Над пышноцветной родиной встает.
От пышных трав струится легкий пар.
Идет домой солдат Мухамадьяр.

11

Проходят дни. Всѣ резче и слышней
Дыханье осени. Прозрачней синева
Над влажными просторами полей,
И в пышно-красном золоте листва,
И яблони роняют в ручейки
Оранжевый, багряный свой убор,
И красно-желтые плывут листки,
И желто-красные летят листки,—
Весь в листопаде ветренный простор
Шуршит, звенит... И дали — широки!

А листья винограда сплетены
Как будто бы из солнечных лучей.
И гроздья, словно яхонты, красны,
Мерцают сладко в трепете теней.
На крышах всех — пунцовые ковры:
Здесь сушится джида, а там — урюк.
А дыни золотые до поры
У потолка подвешены на крюк.
В углу кувшин, наполненный вином,
Кипит Хайяма сладостным стихом.

Дороги заняты. Со всех сторон
Машины, арбы — караван цветной,
Гудки сирен, уздечек перезвон,
И всюду — хлопок белою горой.
Грохочут арбы с хлопком по земле,
Друг друга обгоняя, торопясь.

Мальчишка восседает на седле,
Высоким поручением гордясь.
Украсил хлопок мальчика висок —
Родных полей серебряный цветок.

В разгаре хлопка сбор. Обширный край
От горизонта и до снежных гор
Собирает драгоценный урожай.
Как белый снег, блестит полей простор.
Чтобы помочь на хлопковых полях,
Сюда приехал университет.
Ученый в черных роговых очках
Здесь постигает сборщиков секрет.
И девушка с косою золотой
Собирает хлопок тонкою рукой.

Пять девушек средь хлопковых кустов
Встречают солнца первые лучи,
И возвращаются они под кров
Тропой, уже не видною в ночи.
Без умолку смеется Алтыной,
Уча студента хлопок собирать.
Гульшан у Веры с русою косою
По-русски научилась распевать.
И песни русской вольная краса
Как будто раздвигает небеса.

На иноходце, горделив и прям,
Въезжает на поле Балта-ака:
«Друзья мои! Везу я новость вам,
Весть хороша, и радость велика.
Товарищи, мы выполнили план,
Я поздравляю вас от всей души».
Но говорит с сомнением Гульшан:
«Дела у нас не так уж хороши —
По девяносто центнеров у нас,
А нужно по сто. Дорог каждый час».

«Не бойся, доченька! В полях еще
Богатства много!» — председатель ей.
Потом Назми он тронул за плечо:
«Когда ж на свадьбе попляшу твоей?
Когда тебя за ухо потяну,
Мухамадьяру в руки передам?»

Назми молчит, похожа на весну,
Склонившись к пышным хлопковым кустам,
И тихо молвит: «Хлопок соберем,
Тогда гостей на свадьбу позовем...»

12

И вот опять настала ночь зны,
Снег на полях, на птичьих гнездах снег.
И вербы, черные средь белой тьмы,
Как путники, шагают на ночлег.
А в комнате просторно и светло,
Седые вербы за окном скрипят,
Мороз покрыл узорами стекло,
Пять девушек за закрытым волокном
(Коробочку с сокрытым волокном
Обычно называют кусаком).

Кусак под снегом собран, под дождем
С обледенелых хлопковых кустов.
Его собирают, чистят. Лишь потом
Сияет хлопок белизной снегов.
Подруги чистят хлопок!.. Волокно
Струится белым ласковым огнем,
Большим трудом добытое, оно
Горит непотухающим костром.
«Сто центнеров» — сказать легко... Взгляни,
Как велики, пушистые, они.

«Нет, девяносто девять — всё не сто!
И невозможно клятве изменить.
На то живем, работаем на то —
Сказали «сто» мы, так тому и быть!»
И чистят, чистят девушки кусак,
А ветер воеет, мечется в трубе,
Неугомонный полуночный мрак
По снеговой шатается тропе,
И озабоченно глядит Дильбар
На полный мерзлым кусаком канар.

«Не беспокойся, — молвит Алтыной, —
Не хватит здесь — разыщем подо льдом, —
Расколем каждый камень ледяной,
И камень обернется волокном!»
— «Мы, как орехи, будем их щелкать!..»

На спор хотите?—крикнула Палван.—
С дом кусака могу шутя набраты!..»
— «Что ж,— говорит, прищурившись,
Гульшан,—

Одна пословица уместна тут:
«Делянку хлопка съест шутя верблюды».

Смех добродушный обрывает речь,
Мелькают руки. Всё быстрее, быстрее...

Пушистый снег отряхивая с плеч,
Мухамадьяр заходит из сеней:
«Эй, девушки! Уж полночь — время сна,
А ваши окна в темноте горят».
И хмурится Назми, его жена:
«Ну как не стыдно! А еще солдат!..»
А тот смеется, ухом не ведет,
Из-под шинели дыню достает.

Он режет дыню за куском кусок,
Подруги дыню весело едят.
Стекает с губ прозрачный сладкий сок,
По комнате струится аромат.
И словно в этой комнате — бахчи,
И вместо крыши — синева небес,
И летний полдень в снеговой ночи:
Всё — дыня, всё — коробочка чудес!
И ломоть дыни месяца серпом,
Сияньем влажным озаряет дом...

Большие ноги широко скрестив,
Уж хлопок чистит и Мухамадьяр.
Он много видел, мир избороздив,
Он много знает, хоть еще не стар.
Но кажется, что видит в первый раз
Своих подруг... В движениях точны,
Работают, не поднимая глаз,
Терпения и выдержки полны.
Да ведь они — солдаты на войне,
Солдаты, бывавшие в огне!..

Во все глаза глядит Мухамадьяр
На ватники просаленные их,

На сильных рук обветренный загар,
На волевою складку губ тугих.
Ведь их, почетных героинь полей,
Народ почтил приветствием своим...
Была бы в десять раз война трудней,—
Мы победим! С такими — победим!..
Ну что за девушки! Отчизны цвет!
...И — белый-белый за окном рассвет.

13

А дни идут, весомы и шумны.
И солнце, как дехканин старый, вновь
Раскинуло цветной палас весны,
Взрастило розы, радость и любовь.
И наступил в сиянии цветов
Бессмертный день — девятый мая день.
Победа! Краше не отыщешь слов!
Победа!.. Солнце победило тень!
И радость сердца каждого полна,
Как океана шумная волна.

Как встретил ты победу? Вспомни, друг,
И снова радостью заблещет взор.
И на забившегося сердца стук
Ответит песнею земной простор...
А в кишлаке, весть эту услышав,
И стар и млад — все вышли из домов.
В глазах победы отблеск увидав,
Все обнимали встречных земляков!
Смех — на губах, и слезы — на глазах,
Цветы и ветки вешние в руках...

А на зелено-бархатной траве
Народное гулянье. Шум растет.
Звенят сурнай в яркой синеве,
Гремящий бубен танцевать зовет.
И девушки, как птицы, поднялись
В шуршащем блеске крыльев-рукавов,
Рекою заструились, понеслись
Рекой атласной всех весны цветов.

Старик Тургун, безмерным счастьем пьян,
Отплясывает с бабушкой Мастан.

Гульшан в атласе красно-золотом
Жар-птицей яркой носится вокруг.
Дильбар сверкает солнечным лучом,
Не отрывает от тамбура рук.
И танцу в такт поводит Назмихан
Крылами изумительных бровей.
Раскладывают пышный дастархан
Алтын с Джамаль. И потчуют гостей.
Балта-ака поет, обняв дутар,
И пляшет лучше всех Мухамадьяр.

Звезд золотых необозримый луг
Расцвел на небе темно-голубом.
Навстречу звездам загорелись вдруг
Все факелы на празднике ночном.
И птицам этой ночью не до сна.
Крылами птичьими трепещет сад;
И светом чаша хауза полна,
В ней отражения огней горят.
И тайну счастья людских сердец
Плетет в созвучия стихов певец...

14

И снова утро над землей встает.
При свете первых утренних лучей
Колхозный стан отправился в поход
Дорогой пыльной в сторону степей.
Средь плодоносных шелковых полей,
Где равен золоту земли вершок,
Терзает сердце солончак степей,
Пожар пустынь, кочующий песок.
Идет в поход за счастьем — за водой
Колхозный стан равниною степной.

Знакомцы наши едут на канал.
Мухамадьяр гарцует на коне:
Пыль поднимая, гордо проскакал
Балта на золото-пегом скакуне.
А на ковре узорчатом арбы —

Пять девушек, как пальцев пять руки.
Они — хозяйева своей судьбы,
Их взгляды соколиные зорки,
И к новой славе, к новым рубежам
Пути открыты молодым друзьям.

О, сколько есть непройденных пространств,
Мечтающих веками о воде!
О, сколько есть неподнятых богатств,
И сколько счастья в творческом труде!..

1947
Ташкент

ХАМЗА

Вскипает лето селем золотым,
зеленым небом виснет над дорогой,
и полдня знойного прозрачный дым
ферганским далям

царственно дарован.

Прямое солнце жарит и печет.
В зеленых волнах выкупаться силась,
то в тень ныряет, черный, как жучок,
то заново выныривает «виллис».
Тропинка ветра бороздит поля,
торопится, как гости перед тоем,
и край, трудом устроенный сполна,
сиянья, как награды, удостоен.
Повсюду хлопок,

хлопок!

Дотемна

он всех роднит в усиллии едином,
и полевая эта седи́на —
и слава юным, и почет седи́нам.
С утра, наверное, пусты двory.
Зато на хлопке — голосов вскипанье,
и старики, и девушки, и парни,
и озорная россыль детворы...
И воздуха высокое вино
их солнечным одаривает хмелем,
пока мы
вновь и вновь глазами мерим
хлопкового простора полютно...

Долина длится —

и за часом час,

как будто нас к открытью подводили,
наш «виллис» мчится

и, разгорячась,

врывается в прохладу Вуадиля!..

и, взбивши пену,
раскрутив косу,
еще вовек не ведавшей бумаги
здравной песней
встретит вас Коксу,
и радугой
на распыленной влаге...
Коза на миг застынет на весну,
потом мелькнет другая в полумраке,
и, окликаая беглую козу,
пастуший най залется где-то з выси,
чабан-мальчишка понесется вниз — и
миг не прошел,
а он уже внизу!..
Но поворотов кончилась игра.
Вода умолкла.
Всё — грозней и проще.
Тут словно на гору легла гора —
чудовищные слитки горной мощи.
Всё до краев налито тишиной,
молчанием —
пока о вас не вспомнят!..
Полупроглочен, тянется шиповник
из челюстей расщелины стальной.
Что прячется за всю тишью тесной?..
С испугу птаха пискнет,
черным лбом
кивнет скалы обломок неизвестный —
и вдруг,
как чудо,
озеро Куббон!
О, дай вздохнуть...
Ты, чаша синевы,
упавший в камни ярый сгусток неба,
кто первым увидал тебя?
Не мы,
перед тобою стынувшие немо!
Не повернуть повинной головы.
И как восторженности ни корите,
но то,
как эти воды голубы,—
и в сотый раз —
такое же открытье!
Сидим замороженные,
следим,

подобно высям этим, в отрешенье,
как в глубине недвижны отраженья
их вековечных снеговых седин!...
Глаз не отвесь от голубого блюда,
вьсь не измерить, не изведать дна.
Гранитных чаш безжизненна полуда,
безрадостно-сурова тишина.
И возглас дик в сени глухих громад,
внутри утробы каменной Алая:
негромко вскрикни, испытать желая,—
в ответ

издевки эха загремят!
Испей глоток студеной синевы —
и все-таки переспроси громады:
кто видел здесь —
иль это всё не вы?—

поэта,
тут бродившего когда-то?
От старшего исчезнувшего брата
кто ритмы строк усвоил огневых?
Где те следы — я б их побелсвал,—
скажите,

горы,
озеро
иль небо!
Шахимардан, какой тоски обвал
в твоей груди,
какие груди гнева!
Как сердце вновь сжимается во мне,
как память никнет

черным покрывалом...
Сюда не старцем он пришел усталым,
но мужем, закалившимся в огне,
бойцом,
певцом неуголенной силы,
объятя раскрывшим этой сини,
и этой мощи гордой,
и весне.

Он видел в них —
в размахе этом самом —
лишь образ дня,
который воспоеет;
со связкой книг,
с карандашом и сазом —

слова и мысли он стремил в полет,
Здесь он ходил —

у этих скал и вод
пестрел чапан ферганским бекасамом...
Внушивший смолоду себе: «Пиши,
борись за правду, плюнь на пересуды»,
как много передумал он
в тиши,
и за какие глянул рубежи,
какие дали увидал отсюда!

Я представлял себе его не раз
и нарисую вам без колебанья
и эту глубь внимательнейших глаз,
и чернь усов над яркими губами;
вот он присел на камень у ручья
и что-то быстро записал —

и сразу
весь строй рожденных' строк
доверил сазу,
и в песне этой — сай летит, рыча,
чабанский най о давней доле плачет,
и слышен голос нынешних забот,
и звонкий стих в грядущее зовет,
которое

судьбу переиначит...
И вновь идет, бормочет стих в усы;
и вздрогнет вдруг
пред ликом всей красы,
всей грозной и пленительной округи —
и медленный проглотит в горле ком...

И лишь один
родит в нем ярость холм,
движеньем гнева
напрягая руки.

Шахимардан!

Ты помнишь тот мазар,
пестро украшенный приманки ради, —
как гроб невесты в свадебном наряде,
покойник, выехавший на базар?..
И скорпионы в образе людском

себе гнездо умело свили рядом
и, оседлав безвестный этот холм,
окрестный край обрызгивали ядом.
Мол, поспеши приникнуть — и моли!
(Даров мазару

не забудьте, люди,
ведь наш покойник — это сам Али,
и прах его из золотой земли
на снежно-белом привезли
верблюде!)...

Ну и беда с тобой,
бродячий прах!

Где у холма местечко ни захватит
хитрюга шейх или ишан-стервятник —
ты тут как тут,

как песня на пирах.

Появится волшебный след копыта,
святой гробницы вознесется свод,
и шайка шейха приметя открыто
обманывать и обирать народ.

Пока в шурпу ныряет их половник,
ишан в халате нежит телеса,—
целует землю грязную паломник
и ею мажет

и слепит глаза.

Приняв благословенье жирных рук,
на миг обнимет тот обманый камень —
и молит со скрещенными руками
дать счастье,

сына,

исцелить недуг!..

А сколько жадной челяди порочной
доверчивых еще морочит там —
и распродать готова по листочку
весь

у мазара шелестящий тал!

Поистине — базар надежд и бед,
где темнота — разменная монета...
Баранов связки, данных по обету,—
всей воровской команде на обед;
коза бедняцкая; и две гусыни;
и мелких подношений карусель;
и ряд верблюдов —

корабли пустыни,
с коротким криком севшие на мель...

Поэт идет —

и ткань его души
напильником кровавит раздраженье:
куда ни глянь — ишаны и ходжи!
Доколе ж так останется, скажи?
Кочан чалмы,

под ним — жилище лжи!
И хоть глаза острее, чем ножи,—
лицо, как масла ком, без выраженья!
Посиживай себе, как истукан:
ведь вся-то жизнь —

бесплатный дастархан!..
А заодно, конечно, кулаче,
всё за свои боящееся пашни.
Вода, земля — всё божье, значит — чье?
Аллах-то с нами —

и, выходит, наше!
А в сельсовете — бывший амалдар;
басмач вчерашний скромно нижет четки
в гостях у бая — и считает четко
часы и дни,
когда разжечь пожар...

Мазар же — крепость черных сил!
Ну как с соседством

примириться сим?
Подумай только: эта ширь рассвета,
и ветер гор,

и вольный голос вод —
и рядом жадной дикости оплот,
раздолье злобной темнотищи этой!..
Второй десяток — солнцу Октября,
и собственные университеты
в глухом краю открыли мы не зря!
Что ж, как слепые без поводья,
тут тыщи темных тычутся без света?..

Но вот глаза яснеют у Хамзы —
в них как бы даль втекает голубая:
он издали увидел Башакбая!..
Вожак кошки и верховод комсы,
тот богатырь со взором ястребиным,
здоровьем пышущий неистребимым,
бесшумный, как охотник на тропе,
со следом пули над собольей бровью
(бой с басмачами — штрих в его судьбе),
дарит Хамзу сыновнею любовью.

Сын истый гор, он знает всё вокруг.
Вот и сейчас — насквозь прошел ущелье
и вышел на широкий этот луг,
ковром простертый

в ярком освещенье...

Они садятся оба на траву.

Сник ветерок в объятьях тополиных,
и тень от скал, то стыхлых, то палимых,
к ним движется, как лодка на плаву.

Хамза как будто грезит наяву:

«Поистине тут сказочна природа!

Какой настой густые травы льют...

Тут бы устроить отдых для народа —
пусть дышит высью

утомленный люд!

А жадных воронов — долой отсюда...»

— «Юлдаш-ота нам говорил

точь-в-точь!..»

— «Да, Башакбай, но черной стаи мощь
от вздохов не рассыплется, как груда,
от слова «кыш»

не разлетится прочь!

Бороться надо...»

— «Соберу кошчи,

а вы им всё расскажете. Я знаю:

вы меж поэтов — словно пик Алая!

Вам в бой поднять —

и спящего в ночи...»

..Упряма грань гранитного ребра.

Хамза опять взбирается на скалы,
медлительно-могучие,

как сказы

о вечной битве злобы и добра.

В изломе их — стремительный родник,

одним глотком снимающий усталость...

О, красота не в цветниках одних,

а и в изгибах

этих гребней старых!

Сиянье снега осеняет синь

воды,

и лета цвет,

и сизый воздух.

А там, внизу, алайских высей сын —

кишлак повис, как ласточкины гнезда!..

Стара оснастка жизни. Ох, стара!
А новый сад, сквозь старый сор взошедший,
любой ценой сгубить мечтают шейхи,
чтоб пировать,

как прежде,
у стола!..

Ведь в кишлаке — как в каменной глуши.
Так, словно новь

костра не раздувала!

Всё так же прячут девушек дувалы,
как будто глиняные паранджи.

Для молодежи — ни газет, ни книг:
в чайханах — перепелок перепалки,
ленивый чай, мигнувшие в припадке
чораков издыхающих огни.

Как молодые на веселье падки! —
а здесь ни-ни:

ни смеха, ни возни...

Вот чайхана. Присядем на сури.
Он слышит перешептыванья бурю:
«Хамза!...»

— «Поэт!...»

— «Тетрадь при нем, смотри...»

— «Слышал, как он играет на тамбуре?...»

А паренек, мостившийся в углу,
встает,

подносит с чаем пиалу:

«Мулла-ака, отведайте...» —

и сразу

движенье, шум — поэт уже в кругу!

Кивая благодарно пареньку,
строкой заветной он венчает фразу —
и видит: на любом из этих лиц
глаза,

как окна под вечер, зажглись!

Готовы слушать, затаив дыханье,
и всей душой откликнуться в ответ.
Простые парни: батраки, дехкане,
чабан, кузнец...

«Вы комсомольцы?»

— «Нет»,

И лишь один спешит достать билет,
но тут же прячет. Это что за притча?
Оглядываясь, уловил поэт

какой-то взгляд,
кольнувший жала прытче:
на улице, под топодем, стоит
ишан в очках,
скривившийся от злобы,
и, кажется, готов убить старик!
Они друг друга взглядом меряют оба:
как ночь — и полдень,
как рассвет — и мрак...
Он пьтится, трусливый, подлый враг.
Сейчас пойдет к своим и всё доложит,
усердно правду сдабривая ложью
и добавляя сотню грязных врак.
И воззовет к «священному» мазару,
тупых мюридов призовет к войне!..

Хамза глядит на сникнувших парней:
и вправду их

задело это жало!

«Ну, вот и на проклятье нарвались...»—
вздохнул один.

«А в этом много ль проку?...—

Лицо Хамзы белей, чем белый лист,
от ярости.— Он сам эпохой проклят!..
А вы — для новой жизни родились!
Не бойтесь же!..»

И тает холод лиц,
а значит, свет
и правда в души пролит...
А между тем уже померкла синь,
и в сумерках

звезда над миром встала,
унылое бредет обратно стадо,
и вновь над ним
гнусавит муэдзин...

* * *

Их двое по дороге на Гултаг,
два батрака, в дранье, в чарыках рваных.
Рассказывает молодой батрак:
«Ей-ей, ота, он их отделал так!
Как спустит шкуру
да посолит раны...
Ну молодец, ну молодец Хамза!

А нам, кошки, пораскрывал глаза:
вы, говорит, боритесь, не пасуйте —
ведь вы всему хозяева, по сути!..
Хозяева, гляди-ка!.. Ну дела...»

Старик доволен: «Он по делу судит:
не даст дехканин — что поест мулла?..»
А парень снова: «Ка-ак он их!.. Дотла!
Мол, шейху палец — голову проглотит!
Ишану деньги — покупает жен!
Мазар во тьму с макушкой погружен —
а школа наша

к свету вас выводит!..

Нет, он взаправду говорить мастак:
кто так умеет

в наших-то местах?..»

Старик идет, задумавшись, нахмурясь.
«Поэт, сынок! И словом валит с ног...
Поэт — дехканин языка, сынок,
его хирман, для всех открытый, —
мудрость...»

Хамза и сам доволен тем собраньем.
Все парни тут — от стада, от сохи,
а как он развязал им языки!
И ведь не ради бесполезной брани:
о сути говорят,

о смысле дел!

Нет, кое-что он все-таки успел.
А это выступленье Башакбая?
Он чувствовал, что правилен расчет:
растет вожак, воистину растет —
гроза ишанов,
посрамленье баям!
Да, он, Хамза, нарушит мнимый мир,
что мироедам выгоден и мил,
а их дела — раскроет и ославит!
Пусть осторожность булькает: «Уймись»,
но для него лишь в этом жизни смысл:
он Ленина

и партии посланец!

...— «Эй, Башакбай, я что сказать хочу:
поставим памятник на этом месте!»

— «Кому, ака?»

— «Конечно, Ильичу.

На площади оно всего приметней...»

...Он всё облазил, весь Шахимардан,
дороги, тропы, выси и низины.
И думал всё, прикидывал, гадал:
как этот быт сломать невыносимый?
Он знает всё тут: что ни говори,
а жизнь ему поблажек не давала;
он изучил все драмы ичкари,
все мерзости, что прячут за дувалы.
Его задача — всем раскрыть глаза.
Ведь он поэт и вправду!

Он — Хамза...

Начало есть. И молодые — за.
И, что ни день, они ему всё ближе!
Любой — он знает — чем-то увлечен:
тот — музыкой, а этот строки ниже,
а третьему искусство нипочем,
зато давно мечтает сесть на трактор!
Четвертый... ох, четвертый не речист:
уж так стеснителен и робок так-то...
а сам в мечтах —

боец-кавалерист!

Он вспоминает собственную юность:
вот так же жаждал

с жизни сбить замок!..

...Ему иные очень приглянулись,
жаль, что составить труппу он не смог.
Зато открыли Красный уголок
при чайхане. Читают вслух газеты
и учат грамоте. Не передашь
всей многозначности картины этой:
в дехканских пальцах — первый карандаш!
Рисуют буквы, как картинки.

С дрожью,
с усилием. Не сходится, хоть плачь!
«Мулла-ака, ну а вот так — похоже?» —
с онаской спрашивает бородач...

А в ханаке, что у мазара, шейхи
всей ненависти больше не таят:
змеиные вытягивают шейки,
шипят от ярости и точат яд.
«Отступник!»

— «Большевик!»

— «Слуга шайтана!»

— «Прочь от него!

Он ловит неустанно
вас, праведных, чтоб нанизать на нить
безверия, и жаждет осквернить
святыню нашего Шахимардана!»
И суеверный топчется мюрид,
вобравши в плечи голову, как будто
безбожный пламень дьявольского бунта
ее коснется — и она сгорит!
Как будто Красный уголок,
Хамза

и школа —

настигают их, как бесы!..
О нет, конечно, — этим, как ни бейся,
строкой и словом не раскрыть глаза.
Они боятся за свою жратву,
за беззаботный,

жирный свой достаток..
Но те-то толпы бедняков усталых,
обманый сон глядящих наяву,
забитый люд, обманщикам несущий
последнее,

свой жалкий хлеб насущный..
И эти ведь, как от жестоких ран,
вопят вослед:

«Спаси, Шахимардан!»
И нервно, яростно

по кирпичу
стучит ишана кизилый посох,
и в злых,
зменных нападениях позак
вся братия стоит плечом к плечу...

*

Ночь лунная прекрасна в тех краях.
Вздохнешь, увидев, —
и навек запомнишь.

И ни к чему воображенья помощь,
хотя и тут мечты свое кроют
из теней,

бликов,
абриса вершин
заснеженных, в серебряном обводе...

Вот дивный всадник уронил поводья,
там дэв присел — и стынет, недвижим,
другой во мглу протягивает руки;
тьень облаков — летучий ряд коней;
и лица прорастают из камней,
алмаз воды сверкнет на светлом круге...
Луну сдувает ветер.

Соловьи!..

Нет дерева без своего хафиза.
И каждый прочим всем бросает вызов —
и воспевает радости свои.

Хамза идет, задумавшись, в ночи.
Листки бумажные целует ветер,
и строки новые растут в поэте,
ловя звезды приветливой лучи.
Короткий

с уст срывается мотив —
и наплывает волшебство напева!..
Откуда скрипка?..

Как она запела,
минувшее сознанию возвратив!
И он опять на улицах Коканда,
кривых и пыльных. Мать зовет: «Сыно-ок!..»,
а он бежит упрямо, босоног,
по лужицам и заводям заката,
и первое созвучье, как загадка,
родится в нем — и бьется, как звонок...
А вот впервые под рукой струна
запела так пленительно и странно:
как будто вдруг вокруг — иные страны
иль дней иных

родная сторона!

Вот школы шум: ты в нем — как в сетке рыба;
домла в чалме и с ивовым прутом;
и поучения отца-табиба,
когда чуть позже возвратишься в дом;
и медресе скучнейшее потом —
уроков постное однообразие;
любовь — из-за решетки паранджи;
чужбины даль; и нищенство души,
и вечный поиск —

в жизни,

сердце,

фразе...

С фронтов приходят рапорты победы.
Над Ферганой еще клубится дым,
но раздавили гадину Советы!..
И Самарканд приветствует поэта,
и он, бродя садами, полный света,
себя таким не помнит молодым,
как в этом древнем городе!

Прекрасна
и полнокровна жизнь,
и нет числа
задачам новым, и талантам разным —
созвездьям драгоценного чела.

Ему же
время так писать приспело,
как он мечтал когда-то:

чтобы стих
в общенародное вливался дело,
а не звенел для некоторых,
тих.

Чтобы с подмостков слово зазвучало —
звало вперед,
учило,

обличало!..
Он, впрочем, и старался так всегда,
но в первый раз и сам представил это
тогда, на заседании Совета,
где звание народного поэта
ему присваивал Юлдаш-ота...
Ох, жизнь длинна!..
Длинней, чем Млечный Путь.
Не перебрать воспоминаний груды —
и реку эту вспять не повернуть!..

А ночь луны меж тем идет по кругу.
Округа так тиха и так ясна,
а на тропе перед Хамзою —
двое.

Поближе — он узнал его — Хатам
(тот комсомолец в чайхане), а там...
не женщина ль с покрытой головою?
Как трепет ветра — вздох издалека,
и горестно опущенные плечи...
«Она искала вас, мулла-ака,
и заблудилась!..

Ладно — я навстречу!»

— «А что стряслось?»

— «Да вот — расскажет вам...»

Рывок руки, отброшенный чачван:

«Да, да, мулла-ака, сама отвечу!

Не знаю только вот,

начать с чего...»

Он видит снежно-белое чело,

как родники, вскипающие очи:

и свет в них вроде разом —

и черно!..

«Я родилась на горе в доме отчем.

Мать умерла — качали колыбель

чужие, ненавидящие руки.

Отец — издольщик,

он бы и теперь

последним бедняком прослыл в округе.

Кой-как кормились, с горем пополам.

а на зиму — хозяйская конюшня.

Издевки да попреки ичкари,
в ответ — и слова не проговори,

а что ни сделай —

всё не так, как нужно!

И мало ль горя —

вскорости в ночи

отца убили в поле

басмачи...

Тринадцать мне!

Кому девчонку жалко?

И отдали ишану...

Дотемна

работала как младшая служанка,

а там, глядишь,—

как младшая жена...

Поиздевались надо мною жены!

Шесть лет терпела я в своем углу...

И поняла, что больше не могу!

Так ведь избил же, дьявол прокаженный,

избил — и запер!

Думаю: сбегу...»

Глаза горят, как лампа в два накала.

И вдруг из них —

потоки слез рекой!

«А я про вас... Хамза-ака... слыхала...
вы добрый... умный... смелый...
вы — такой...»

Душа Хамзы — как сжатая пружина.

«Ишан?! А он знаком тебе, Хатам?»

— «Да в чайхане — вы позабыли?»

там
под старым тополем и сторожил он!
Должно быть, шел за вами по пятам...»

— «Мулла-ака, меня зовут Бадам...

укройте вы меня от них... спасите!»

— «За то, что мне доверилась, спасибо.

И я тебя в обиду им — не дам!

Пойдем, пока останешься у нас.

Жена одежды раздобудет чистой...

Потом в Ташкент отправишься —

учиться!

А эти —

пусть-ка только сунут нос...»

* * *

Заря воткнула косы в гребень гор,
и ей навстречу движется по склону
джигитов цепь, неся кирки и ломы,
сонливости ложбин наперекор.

И горный край

шагам негромким рад,

о дно ущелий эхо расшибая.

В путь за водой

с парнями Башакбая

идет Хамза как опытный мираб!

Вверху, за каменным сплетеньем жил,

лежит проход —

обвал его обузл,

и разрубить гранитный этот узел

Хамза парням недавно предложил.

Он повстречал однажды старика —

тот указал ложбину поотложе:

«Здесь вырубить бы для арыка ложе —

жаль, не нашлась упрямая рука!

Повыбить камни — и поток воды

пойдет в ущелье, выйдет на свободу,

и часть реки направить можно с ходу

на будущие пашни и сады!

Ведь путь-то дальше — прямо к кишлаку,
бегн себе — готовые ступени!»
Поистине — не знает даже пери,
что ведомо иному старику.
А он, поэт, в родном краю — не гость,
ему — своя
народных дел громада!

...Хамза схватил жемчужин белых горсть —
отпил глоток от пены водопада.

Они уже у цели.

Первый гром —

в гранит ложбины дружно вгрызлись ломы.

Гремит потока будущего лоно,

и поддается камень непреклонный,

как слов руда

под яростным пером.

Железо бьет о скалы — и в глазах

то искр сноп,

то молнии зигзаг!

Гудит Алай,

и, пламя вышибая,

из твердокаменного сердца гор,

работают ребята Башакбая

усталости лихой наперекор.

За ломом лом, и за киркой кирка —

летят обломки,

двигаются глыбы.

Упрямая порода

нелегка,

но мощь народа,

коль в руке рука,

и мужество,

коль цель душе близка, —

любые горы своротить могли бы!

Джигит высокий говорит Хамзе:

«Мулла-ака,

на вас мы смотрим все:

вон сколько наработали!

И ладно...

Вам груды слов тесать

в бою со злом!

Любой из нас подымет тяжкий лом —

но не удержит вашего калама...»

Голубоватый стелется туман,

парит орел в необозримой выси.
По граням скал — по каменным томам —
поэт блуждает неуемной мыслью.
Костер играет дымом. По ногам
пронесся ветер. Закипел джумган.
Как хорошо: он не один сегодня ем
в пустыне гор и путанице скал!
Народ, работа...
То, чего не скажешь, обречен
сюда явилось с ними!
И всего не можешь
пересказать, что копится в груди...
Еще дела и сроки — впереди,
а все-таки мы ошутимо близим
тебя, о цель труда — социализм!
Как даль ярка... Он знает — это вы,
счастливой жизни радостные зоры!..
А от кирки он все-таки отвык:
гляди, какие понатер мозоли...

И вдруг
в камней и ломов перестук
вмешался новый
и растущий звук:
запели песню!
Как звучит знакомо...
Конечно, так и есть: его слова!
Как сила слова кажется слаба,
когда встает, рожденная едва,
и в сотнях уст
еще не стала громом!..

Ну что ж, поэт, благодари судьбу.
Пускай она труднее многих судеб,
зато твой труд воистину подсуден
лишь высшему —
народному суду.
И нынче ты услышал приговор!..

К закату день. Конец хашара близко,
грохочут ломы, отлетают искры,
и пыль труда
туманит выси гор.

День хмур,
и сумерки — не из веселых.
Стук мельницы разносится в тиши.
И от мазара темного
в поселок
ишан, слепой от ярости, спешит.
В уме перебирая наказанья,
«Сгною!— шипит.— Мучениям предам!..»
Ему сегодня под вечер сказали:
в арбе уехала
его Бадам...
Без паранджи! Наглей гулящей девки!
Уж лучше было б
сжечь ее живой!..
И не вернешь — хоть сыпь горстями деньги,
хоть сделай даже
главную женой...
А, пусть провалится!..
Аллах, прости мне —
пусть не уйдет от божьего суда!..
Не то еще когда-нибудь
партийной
возьмет и припожалует сюда...
И как она решилась? Как сбежала?
Подвесить надо было
за косу...
О, повстречать бы этого Хамзу —
уж он ему
вонзил бы в сердце жало!
Или собрал всех верных перед тем —
да и камнями бы его!
Ножками!..
Вон впереди мелькнула чья-то тень —
старик в руке сжимает посох крепче.
Свой кто-то, свой...
И белая чалма
сама собою катится с холма —
мутавалли бежит ему навстречу.
«Есть разговор!..»
— «О чем?»
— «О нас самих!..»
И вот ишану в уши через миг
втекают эти сладостные речи:

«Из Ферганы приехал человек —
от наших дел приходит в содроганье.
Ему известно (вхож туда... наверх...),
что у Хамзы

нет почвы под ногами!
Зря только терпим от него,
таксыр...»
Так вечер нынче пасмурен,
так сыр,
и оба ворона идут, как воры,
передвигая посохи проворно...

А в кишлаке
золотострунный саз
тревожит душу — и возносит в песне,
и свет в окошке теплится,
как в перстне
припрятанный до времени алмаз.

* * *

Уходит лета золото, забрав
свои живые, дивные узоры.
Чабан завернут в шубу,
в тучи — горы.
И рыщет ветер, осени собрат.

В набитой до отказа ханаке
сегодня совершается раденье.
Фигуры, как изломанные тени,
по кругу движутся
нога к ноге.
И весь этот беснующийся круг
то вдруг замрет,
то в диком содроганье
опять пойдет перебирать ногами,
как чудище
с венцом несчетных рук!
Чалмы воздевши усеченный шар
и алчностью снедаем неустанной,
взирает на радеющих ишан,
как волк
на обезумевшее стадо.
Эй, бейте в грудь, вопите!..
Словно воск,

он лепит формы дикого обряда:
И что ни слово — горсть отравы в мозг.
И что ни фраза —
в душу капля яда...

А в кишлаке над пенною Аксу,
над крышей — знамя огненного цвета.
В толпе кишлачной видим мы Хамзу
и шестерых его кружковцев.

Это
их музыка так слаженно звучит,
такой задорный затевает танец!
И пляшущих открыт и весел вид,
как будто рядом дух весны витает,
и тюбетейки им кивают в такт —
так чисто всё
и просветленно так...

Здесь выбирают нынче новый путь,
который всех

в семью большую свяжет.
В стол кулаки уперши (каждый — в пуд),
«Дост! Дост! — кричит Башак —

Нам слово скажет
Хамза-ака — послушаемте все!..»
И сотня лиц повернута к Хамзе.

Слова просты.

Не аксакал, а мать
так говорит с детьми.

О разном, многом.

О знаниях, мыле, музыке, дорогах.

Он сравнивает трактор — и омач,
мечеть — и школу, батрака — и бая.
припомнит кстати некий анекдот,
а посмеявшись, сам смекнет народ:
и нам-де новая полезна баня!

Он говорит о тех работах, где
так важно единение в труде,
а их таких — немало: эти, те ли...

Так и подходит разговор к «артели».

Шумят издольщики и батраки.

«Ну что, народ?

Хотите стать артелью?»—

кричит Башак. И посреди смятенья
взлетают сразу гридцать две руки!..

У чайханы, в домах ли — разговоры...
Старухам объясняют старики
и меж собою продолжают споры:
о лошадях, волах, о лишних ртах —
кому кого кормить придется скоро...
Башак — Хамзе: «Мы назовем «Уртак»
свою артель! Названье будет впору!»
— «Ну что ж, дружок, отлично, если так!
Всё

было б так же на своих местах...
О семенах подумай — не пустяк!
О тракторе, о хлеве...
Дёла — горы...»

* * *

Восьмое марта. Праздник в кишлаке.
На улицах повсюду — толпы женщин,
почти у каждой — красное в руке,
как флаг,
кричит о празднике пришедшем.
И флаги тоже реют на домах,
кипят котлы, и очаги дымят...
И даже солнце рассиялось бурно —
лучи, как стрелы,
целят по глазам!..

Вон чапана пестреет бекасам —
Хамза сегодня снова
на трибуне.
И комсомольцы выстроились в ряд —
пусть небольшой,
но боевой отряд.
Шум голосов в нестройный слился гул,
и тёмных женских множество фигур
(не различить ни молодых, ни старых)
стоит у стен,
пристроилось на скалах.
«Эй, женщины! Вы все, наверно, тут,
вон сколько вас!
Стою я перед вами,

а что я вижу?
Да одни чачваны!
Какие дни весенние идут,
какая жизнь встает и веселится!
И вам сегодня — стыдно прятать лица
от света,
жизни,
общего труда!..»

...Горит костер. И посреди молчанья
одна к нему кидается отчаянно,
срывает сетку — и в огонь, туда!..
И потянулась следом череда...

Горит костер!

Уходят дым и смрад,
и пепел прошлого летит по ветру!..
Летит к горам, к мазару,
где горят
глаза фанатиков, «борцов за веру»,
обманутых отчаянный отряд
и ряд обманщиков обыкновенных.
А шейхи шепчут: «Наземь вышел ад!
Тот, проклятый —
всю веру расшатал он!
Устои рубит, рушит шариаг...
Убить его!
Убить его, шайтана!!»

* * *

Артельная пустынная чайхана —
на богаре уртаковцы. И в окна
видны снега вершины,
а весна
уже слегка от таянья промокла.
Котенок солнца дремлет на ковре.
Чайханщик прикорнул у самовара.
Поэт сидит с сынишкой, тянет вяло
зеленый чай.

Жаль, все на богаре!
Он нынче из Коканда, так что есть и
что рассказать им.
И Башак в отъезде...
Так много дела в нынешней поре —

не сыщешь часа для своей работы!
А уж давно в душе роняется что-то...
Он думает об опере. Пора
создать свою, узбекскую. И ради
того уж год он просит в Самарканде
дать пианино! Трижды им писал —
и каждый раз отказ ему на это...
А звание народного поэта
ему давал не этот комиссар!..
Ну, ладно.

Жаль, что все на богаре!
День нынче важный — он в календаре
его отметил сам:

себе сказал он,
что в этот день отправится к мазару
и бросит вызов прямо им в лицо!
И конский хвост, и тряпок украшенья
сорвет с гробницы ложной!..

Неужели
не струсит эта стая подлецов?
Как хищники полуночные — так и
они боятся лобовой атаки!..

Но что вдали за шум? Соседской драки?
Так для нее сейчас не время, нет!
И, мальчика оставив в чайхане,
Хамза идет на улицу.

Собаки
залаяли: одна, за нею все.
Рев, топот, крики!.. И в растущем вихре
поэт неожиданно различает выкрик:
«Долой отступников!..

И смерть Хамзе!..»
Они его опередили!.. Что ж,
бежать? О нет!..

Он крепко верит в силу
и правды и твердости. Ни нож,
ни пуля еще правды не скосили.
Пусть вопли их колотятся в ушах —
вперед!

Яснее — мысли, четче — шаг!..
Они уж рядом.

Только он на площадь —
и голова толпы из-за угла!..

Лишь вся их ложь так превратить могла
людей в зверей!..

Но как сникает мгла
перед прожектором огромной мощи —
толпа, Хамзу увидев, замерла...
Застыли обезумевшие хари
в гримасе крика,

словно услышали
приказ беззвучный!..

Жаль, что он один
пред этим злобной массы колыханьем, —
хоть кто-то в час такой необходим!
И всё ж он выстоит...

Он поднял руку,
к передним обратясь. И в тот же миг
кулак взметнулся чей-то сзади них —
и камень полетел. И сразу вихрь
проснулся снова,
замерший с испугу!..

...Те, что видали, как среди камней
лежал он мертвый, — не забудут это.
В последней позе чуть ли не сильней
сказалась вся безудержность поэта.
В висок убитый, он лежал лицом
к врагам —

и в то же время к небу.
Огромным неисписанным листом
оно над мертвым

простиралось немо.
Всё, что не досказал, не начертал
в своих скрижалях яростных, — не гасло,
а проступало, кажется, в чертах:
и мертвое,

лицо не стало маской.
Так и поныне он глядит на нас:
еще скрипит под сапогами гравий,
строк не допел, удара не нанес...
Таков Хамза последних фотографий.
Но это не предчувствие конца!
Худоба щек, упрямых глаз усталость —
лишь завершенность строгого лица:
всё выжато, и только суть осталась.

Идут года. Уже который год,
как ты ушел с земли и нас покинул,
и высятся вершины снежных гор,
как памятники, над твоей могилой.
Но в памяти всё так же ясен ты,
и мы опять несем тебе цветы,
как стих живому

принести могли бы.

Ты жег строку, чтоб свет несла, искрясь, —
такой в дома доселе не вносили!
Своею кровью мыл с Алая грязь
ты, сын борьбы

и вечный враг насилья!

Нет меж любимых первых и вторых.
Твой век меж нами

не спешит к уходу,

пока тобою вырытый арык
по-прежнему приносит людям воду.
Трудом победным славится «Уртак»,
шумят в полях весенние потоки,
и вновь, с твоею песнею у рта,
в грядущий день

торопятся потомки.

1948

МОЙ ДЕД

Мой дед прожил сто восемь лет,—
Спина согнулась, посох нужен.
Но глаз остер, и слышит дед,
Как в двадцать лет, ничуть не хуже.

Семья у деда велика
(Праправнуков считать не будем).
Все уважают старика,
Все молодцом, все вышли в люди.

Внук — инженер, другой — шофер,
Праправнук — доктор на участке,
А сколько тех, кто до сих пор
Еще лежит в своей коляске.

Сегодня выборы. Старик
Домой вернулся рад и весел.
Приходят гости. Каждый миг
Дверь хлопает. Стал домик тесен.

Родные, внуки, сыновья
(У сына борода седая).
Пришла сегодня вся семья.
Смеются, деда поздравляя.

А дед доволен. Рассказать
Внучата деда попросили,
Как ездил он голосовать,
Не просто, а в «хафтомобиле».

«Хафтомобиль — бесценный клад,
Услада глаз, отрада сердцу.
Подъехал к дому. Говорят:
«Садитесь» — и открыли дверцу.

Внутри и чистота и свет,
И едет сам — летит как птица.
Вот довелось под старость лет
На этом чуде прокатиться.

Домчались быстро, в пять минут.
Быстрее просто невозможно.
И вот уже меня ведут
К большому клубу осторожно.

Я говорю — дойду, мол, сам,
Не так уж стар, всего сто восемь.
Мне отвечают: «Старикам
У нас почет. Сюда вас просим».

Бумагу девушка дает
И объясняет чин по чину:
«Пройдите к ящику вперед,
Налево можете — в кабину».

А список надо в ящик класть,
И я подумал, опуская:
«Благословенна будет власть,
Где к старикам любовь такая».

Рассказ окончен. Смолк наш дед.
Но гости спрашивают снова:
«В чем долголетия секрет?
Скажите. Просим. Ну хоть слово».

Старик смеется: «Эх, дела...
Однажды матери приснилось,
Что бабушка ей гвоздь дала,
Большущий гвоздь, скажи на милость».

Заколотила в потолок
Мать этот гвоздь. И долголетия
Причина — он. Пожалуй, мог,
Когда б не гвоздь и помереть я».

Хохочут все — вот это да,
Снам верить разве не нелепо?
Но это так — в свои года
Наш дед, как гвоздь, остер и крепок.

Тут отдохнуть бы, но опять
Внук подошел (какой тут отдых!)
И просит деда рассказать
О прошлом, об ушедших годах.

О прошлом... Сколько унеслось
Событий, встреч и расставаний,
И сколько горя, сколько слез
Узнал он в молодости ранней.

Ну, что ж расскажет он. Пускай
Узнают правнуки и внуки,
Каким когда-то был их край,
Какие нам достались муки.

.

«Что нам в прошлом? Оно ушло.
Мне б не знать его никогда.
Всё в нем мрачно и тяжело:
Нищета, работа, вражда.

Воевали между собой
С ханом хан, с эмиром эмир.
Шел за власть постоянный бой,
Мы забыли, что значит мир.

Вот, бывало, в базарный день
Все торгуют, ряды полны.
И заезжего манит тень
Распахнувшей дверь чайханы.

За верблюдом идет верблюд,
Только слышен звон бубенцов.
На базарную площадь люд
Прибывает со всех концов.

Вдруг откуда-то стоны, вой,
Крики «Прячьтесь!» и плач детей...
И с намыленной головой
Из цирюльни летишь скорей.

Тут бы только жизнь уберечь.
Позабудь про свои права,
А не то покатится с плеч
Недобритая голова.

Что случилось?! Кто налетел?!
Степняки на конях лихих.
Всюду горы кровавых тел,
Горе близких, слезы родных.

Помаленьку себе живешь,
Чаще месяц и реже год.
И опять над тобою нож,
Вновь беда у твоих ворот.

Кто ворвался на тот раз?
Снова плач да пляска огня,
То кокандцы идут на нас:
И опять погром и резня.

Месяцами в осаде мы.
Нету хлеба, сожжен весь край.
Жди холеры или чумы
Иль от голода помирай.

Так и жили. Мерили днем
Жизнь свою — от сна и до сна.
А теперь расскажу о том,
Как трудились в те времена.

Мы — ткачи, и квартал большой
Занимали весь целиком.
Места мало, на мостовой
В ряд стоят станок за станком.

Чтобы раньше ты не уснул,
Счет минутам ведет фитиль.
Прялки стонут. Их вечный гул
В исступленье мог привести.

А наградой нам нищета —
Дети голы и носишь рвань...
Жизнь не жизнь, а так — маета,
Всюду горе, куда ни глянь.

Богачи живут, а тебе —
Как последней собаке кость.
Сколько в долгой моей судьбе
Мне всего изведать пришлось.

В кои веки бабушка вдруг
Доставала из сундука,
Расщедрившись, сухой урюк.
Горсть мала — любовь велика».

Видно, память о том мила,—
По лицу улыбка, а в ней —
Словно тень былого прошла,
Словно отсвет далёких дней.

Дед вздохнул...

«О дети, теперь
Всё для вас на земле цветет.
Вам открыта любая дверь,
И растит вас целый народ.

Счастлив тем я, что хоть чуть-чуть
Смог при новой власти пожить,
Смог на новых людей взглянуть
И своей стране послужить.

Умирать не страшно зато...»
А внучата ему в ответ:
«Деда, миленький, ни за что!
Проживите еще сто лет».

Дед смеется: «Что ж, детвора,
Двести лет проживу вполне.
А теперь отдыхать пора.
В воскресенье прошу ко мне».

2

Пронеслась неделя, и вновь
Угощает старик детей.
Снова варится жирный плов
Для таких дорогих гостей.

Дед наш рад малышам всегда,
С ними весел и счастлив он.
Только много их — вот беда,
Не запомнить никак имен.

Вот стучат Азад и Якут.
«Можно, дедушка, к вам войти?»

Тридцать правнуков — все мы тут,
Только те, кто старше шести».

«Заходите! Смелей, друзья!
Тридцать правнуков, ай, ай, ай!»
Дед растроган — ну и семья,
Как не скажешь тут: «Йопирай!»

Он подряд обнимает всех,
Всех приветствует от души.
Говор, шутки, веселье, смех...
Словом, счастливы малыши.

Дед спрашивает ребят
О ребячьих важных делах.
Все скорей рассказать хотят
Об учебе, о новостях.

Но Эржин вдруг вылез вперед:
«Милый дедушка, мы вас ждем.
Ведь рассказывать ваш черед.
Вы сначала, а мы потом».

А старик в ответ: «Не спеши,
Я хочу посмотреть, внучок,
На детей, на радость души,
Дорогих, как глаза зрачок.

Если любишь ты старика,
Дай минуту передохнуть.
Ну а вы спляшите пока
Или спойте мне что-нибудь».

А Эркин ему: «Мы споем,
Хоть театр устроим для вас.
Только, дедушка, о другом
Мы условились в прошлый раз.

Обещали вы нам, ата,
Если помните, рассказать,
Как учились в школах тогда
И была ли отметка «пять».

3

Улыбается дед: «Ну что ж,
Погодите, сейчас начну...»

В общем, слушайте молодежь,
Как учились мы в старину.

Помню, как-то пришел отец,
Говорит: «Где мальчишка мой?!
Вечно носится сорванец!
(Сорванцу миновал седьмой.)»

Видно, мало отцу забот,
Дал аллах мальчишку ему.
Лучше в школу пускай идет.
Может, там научат уму...»

Мать из простенькой алачи
Сшила курточку и штаны,
«Ну, ступай, науки учи,
Пусть хоть дети будут умны».

Захватив лепешек мешок,
Денег взяв, запахнув халат,
Мой отец ступил за порог,
Я за ним, взволнован и рад.

Узкой улочкой мы спешим.
Вот гузар — суета и гам.
Нам навстречу дядя Керим,
Он успеха желает нам.

Мой отец немного смущен;
Вот, мол, вырос сын на беду.
Никого не слушает он,
Так теперь учиться веду.

Подошел к нам кузнец Джалал.
Был он славный, любил детей.
«Одного б,— говорит,— желал,
Чтобы честным рос грамотей».

Вновь отец шагает вперед.
Я за ним не иду — бегу.
За леском плотина, и вот
Ветхий домик на берегу.

Входим, нам «салям» говорят,
Сто мальчишек в сто голосов;

И смеются, и я назад
От смущенья удрать готов.

Но домла одноглазый строг.
Только глянул — тихо вокруг.
Подошел к отцу и мешок
Получил у него из рук.

Деньги выхватил, а не взял, —
Жадный был и хитрый домла.
Здоровяк, хоть ростом и мал.
Бороденка — как у козла.

Говорит, муллой будет сын.
Все науки пройдет насквозь.
Отвечает отец: «Таксыр,
Ваше мясо, а наша кость».

На домлу отец посмотрел,
Не спеша подошел ко мне:
«До свиданья. Учись, пострел!»
Встал в залатанном чапане.

И пошел. А домла: «Читай, —
Говорит. — Вот буква «алиф».
Не вертись! Ногой не болтай!»
Я от робости еле жив.

Палка длинная у домлы.
Чуть заслышит шепот или смех,
Жди беды. Моли не моли,
Без разбора лупцует всех.

Он обходит за рядом ряд,
В тишине раздается шаг.
И ребята громче зубрят,
Головами качая в такт...»

Дед задумался, не спешит...
Дети сбились тесней в кружок.
А Тургун, Камал и Рашид
Прямо на пол сели у ног.

Продолжает дед: «Если ж вдруг
Выходил из класса домла,

Пыль столбом, и крики, и стук,
То-то радость у нас была.

Те шумят, а эти орут,
Третьи катятся кувырком.
Там в «пенек» играют, а тут
Расправляются кулаком.

Малыши собрались в углу,
А потом веселой гурьбой
Повалились в кучу малу
И довольны сами собой.

Можешь прыгать, можешь орать,—
Каждый сам себе господин.
В пыль циновки, в клочья тетрадь —
Все беснуются как один.

Только вдруг в коридоре крик:
«Эй, спасайся! Домла идет!»
Собираешь обрывки книг
И «воды набираешь в рот».

И сидишь, как известка бел,—
«Отбивные» будут иль нет?
Всё домла заметить успел.
Веселился? Держи ответ.

И опять постылый урок
Повторяешь, зубришь с тоской.
Ждешь — когда же обеду срок.
Сам голодный, как волк зимой.

Наконец-то! Бежишь скорей.
Дома голод — четыре рта.
Пообедал — воды попей.
В животе опять пустота.

Или, помню, зимой, в мороз,
Что на мне? Халат да чалан.
Всё малó, за лето подрос,
А над крышей воеет буран.

Вот зажглись в домах огоньки —
Значит, в школу пора идти.

Я иду, а баев сынки
Мне встречаются на пути.

Чекмени на них из сукна,
Соболиный на шапках мех.
И на лицах важность видна:
Мол, гляди — я нарядней всех.

Я быстрее иду. Вот мечеть.
Как хорош при ней минарет.
А о школе кому болеть?
Пусть развалится — дела нет.

Прихожу. Домла захворал.
«То-то,— думаю,— отдохну».
Но меня халфа отодрал
За неведомую вину.

Ни о чем не спросил меня
И отделал так, что потом
Спать не мог я целых два дня,
А четыре — ходил с трудом.

Или вот вам пример другой.
Раз домла говорит мне так:
«Отвечай, где подарок твой?
Приобрел ли ты хафтияк?»

Где же взять его? Мой отец
Не скопил за жизнь ни гроша.
Нет коров у нас, нет овец,
Всё богатство — одна душа.

Весь в слезах домой прихожу,—
Мол, домла подарок просил...
А отец: «На него, ханжу,
Век работай — не хватит сил».

Тут вступили бабка и мать;
«Ах, шайтан он! Ах, негодяй!
Мы бы дали, да где нам взять?
Брось учебу, нам помогай!»

Я доволен — моя взяла.
День ушёл, другой улетел,

А на третий беда пришла:
Только я поставить хотел

Альчик на кон, вижу вдруг —
Трое дюжих парней идут.
Подошли ко мне, стали в круг
(Кулаки у каждого — пуд).

Взрывы смеха кругом, а я...
Я смертельным страхом объят.
Принесли к домле. Как змея,
Источает речь его яд.

«Где подарок? Ах, не принес? —
И как вцепится мне в плечо,
Кулаком мне сует под нос. —
Что, приятно? Держи еще».

Сел на место я. Всё болит.
Звон в ушах, и в глазах туман.
Всё — сначала: снова избит,
Снова надо зубрить Коран...

Так вот, дети, — с мелом в руках,
С вечно ноющей головой,
Не за совесть — за лютый страх
Путь в учебу я начал свой...»

4

Окончил дед. Вздыхает: «У-ух!
Устал, друзья. Не те уж силы».
А дети собрались вокруг:
«Спасибо, дедушка, спасибо!»

Гюльбай встает: «Такой рассказ
Ну как не слушать с интересом?
Хороший дедушка у нас,
Рассказывает, как профессор».

Хохочет дед, но правнук тут
К нему подходит: «Начинаем!
Сначала девочки споют,
А мы стихи вам прочитаем».

И вот концерт. Под «Тановар»
Уткур самозабвенно пляшет.
А дед ворчит: «Эх, стал я стар.
А то и я бы... знай, мол, наших!»

Настал черед и малышам:
Сплясал праправнук, внучка спсла.
А самый маленький — Равшан —
Прочел стихи, да как умело!

Веселье шумное кругом,
За выступленьем выступленье...
И все мечтают об одном —
Скорей бы снова воскресенье.

1937, 1955

РАНА МОЕГО ВЕКА

Рана века в душе у меня горит,
Потому и стихи мои — как вулкан.
Будет к миру когда-нибудь путь открыт,
И рассеется бомб огневой туман.

Но тебе, Хиросима, забвенья нет!
День твой, души спаливший, еще живет,
День твой — траур Истории, память бед.
Поколенья предъявят еще свой счет.

Язв и крови еще остается след,
Город, пленник недуга, спален огнем.
Хоть с тех пор уже минуло двадцать лет,
Рана прошлого в сердце горит моем...

Раскололись на небе звезд зеркала,
К лику ясных высот приливает кровь.
Жажда жизни с зарей в свежий мир вошла,
Каждый листик, цветок оживила вновь.

Червяки, муравьи — все полны забот,
Им приятен с утра кропотливый труд.
И, пьянея от ветра, нырнув с высот,
Реют птицы и утренний воздух пьют.

Утопает Япония среди садов,
Лето щедрый раскинуло дастархан.
И весна здесь, и лето — ковер цветов,
Каждый миг для веселья и счастья дан.

Там, где лес на высоких холмах растет,
У Отаквы-реки светлый город есть,
Солнцу любо над ним начинать восход —
Водопадом лучей оно льется здесь.

Там, где реки впадают в морской залив,
Хиросима и место нашла свое.
Кто родился средь вишен ее и слив,
Тот «Цветком души» называл ее.

Приходите гулять: сад красив, широк,
Распустились листочки, нежны, чисты.
То, что гибель близка, кто б подумать мог?
Мотылек, налетев, покачнул цветы.

Берег — юных сердец дорогой приют,
Место юных свиданий и встреч живых.
Здесь влюбленных уста поцелуев ждут,
Не смотрите туда, не слушайте их!

Словно вишня в цвету, встреча та нежна.
В этот радостный миг кто бы мог грустить?
Тайно с берегом здесь говорит волна,
И любви двух сердец не порвется нить.

Воды песнею лета журчат везде,
Солнце льет на холмы неустанный жар,
Птицы возятся шумно в родном гнезде...
Знал ли кто, что с небес рухнет смертный дар?

Разрушительный атом падет с высот,—
Не несли еще войны беды такой.
Ворон-хищник направил сюда полет.
Что ему, дармоеду, души покой?

Рассвело. Начинает труды народ.
Каждый должен трудом добывать гроши:
Кто ученья лишен, кто работы ждет,
Всем им хлеба кусок — словно часть души.

В Хиросиме у каждого столько дел
Этим — счастье, другим — столько бед подряд.
В неустанных трудах вся их жизнь идет,
А над ними в мешке — смертоносный яд.

Вот обширный и чистый родильный дом.
Сколько женщины приносят сюда мечты!
Ждут отцы у дверей, просветлев лицом,—
И зимою и летом в руках цветы.

Превозмогши последних мучений стон,
Улыбаясь, спешит в этот дом жена.
Девять месяцев, жизни блюдя закон,
С нетерпением ребенка ждала она.

Как любовью ее томный взор согрет!
Страх нет, хоть опасность всечасно ждет,
От лица ее нежный исходит свет,
И красивый ребенок в наш мир придет.

Ясен взгляд, а душа... та еще светлей.
Повитухи: «Девчонка милей, чем мать.
Как шустра! Быть танцовщицей, видно, ей.
Вот не сглазить бы только, а счастье даты!»

И желают все девочке много лет;
Для мечты и мгновение — целый век,
Так волна за волною стремится вслед,
Без надежды не может жить человек.

Мать целует дитя, просветлев лицом:
«Пусть побольше удачи ей жизнь дарит!
Инженером пусть станет или врачом!»
Но заветным желаньям беда грозит.

Уж над городом синий туман возник
И волнуется грозно, как шелк шатра.
Середина прорвалась в тот самый миг,
Как пилот, всё расчислив, сказал: «Пора!»

Уж, спускаясь, качается парашют,
С тяжким грузом, где спрятана смерть
сама.

Ровно восемь часов пятнадцать минут...
Неизбежной беды порвалась сума,

Из Америки вылетел тот самолет
Ранним утром того рокового дня.
Беды века на крыльях принес пилот
И обрушил на город поток огня.

Ни ребенка, ни матери... Рухнул дом,
Хиросима в разбитых лежит камнях.
Опрокинулось небо, ударил гром,
Всё в секунду одну обратилось в прах.

Поглотив настоящего солнца свет,
Лжесветило пылало в сто крат сильней —
Вот что стало началом всех зол и бед
И великим несчастьем для всех людей.

Взорван атом. Всю землю потряс удар.
Жертвы? Счесть их не хватит сил,
Хиросима?
Уж нет ее — сжег пожар.
У людей поучился бы ты, Азраил!

Хиросима на карте не мала,—
Двести тысяч людей, лишь пожар возник.
(Кто б измерил жестокость такого зла?)
Атом их уничтожил в единый миг.

Черной смерти лучи широко прошли,
Много было строений там снесено.
Взрыв потряс небеса и грудь земли,
Плач и стоны смешались тогда в одно.

Пепел тысячи жизней... Дымят костры.
И осталась лишь тень от былых людей.
Мир такой никогда не знал жары:
Плачут тени, и слезы текут с камней.

Сколько воздух оборванных слов хранит —
Все остались висеть среди стен пустых;
Нет людей, но как будто еще звенит
Прежний радостный смех, прежний говор их.

Стоны сразу погибших еще живут,
Хоть прошли ураганом огонь и гром.
Плачут люди, и камни здесь слезы льют.
Даже камни сгорели в огне таком!

Беспощадный огонь все дома пожрал,
В небо пепел и пыль поднялись с земли.
Злобой вражьей сожжен, мир пустынным стал.
Где сады, где цветы... соловьи, журавли?..

Мать бежит, увлекая с собой детей,
Их жилище разрушил огня дракон,
В горы гонит их смерть, из ее когтей
Еще не был никто в страшный миг спасен.

Воздух мирной страны отравляет чад,
От паров ядовитых спасенья нет,
И взращенный трудами японский сад —
Страшный призрак, иссохший теперь скелет.

Поднялся из страдания свитый смерч,
И проносятся вихрями души... чьи?
В каждом камне сгустились и боль, и смерть,
Из камней и стекла потекли ручьи.

Не трясение недр, не разливы вод, —
Небо слила с землей грозных сил игра.
Море, горы, поведайте, что всех ждет?
К миллионной черте поднялась жара.

Злобный ворон, пикируя, чертит круг,
Людный город отныне развеян в прах,
Жизнь, что длилась столетья, угасла вдруг...
Не бывало подобных злодейств в веках.

Девы, юноши с жаждою жить в крови,
Чьей прекрасной весны подошли года,
Чьи сердца отданы колдовству любви, —
От цветущих их душ не найти следа.

Нежность, юность, любовь — только ноль от них?
Всё отныне — прах, ничего уж нет.
Дев и юношей ты не найдешь в живых...
«Где глаза ваши, сердце?» — кричу им вслед.

Разъяренное море стеной встает,
Пляшут лодки пустые в крутых волнах.
Смерть с весельем и счастьем свела свой счет.
Уголь трупов... Улыбок сгоревших прах...

Воздух родины каждому нужен, мил.
Каждый любит свой край и свое жилье,
Любит птичек, их пение, трепет крыл
И здоровым потомство растит свое.

Человек! Ты природы царем рожден,
Но свой варварством каждый отметил шаг.
Стонет шар земной. Человек-дракон
Красоты, доброты — самый первый враг.

А ученые, горестных мук ценой,
В море знания жемчуг стремясь извлечь,
Перед смертью все жили одной мечтой —
Искрой сердца светильник наук зажечь.

Шаг за шагом всех тайн отступала тьма:
«Будет в точные формулы атом взят,
И его разобьет нам алмаз ума».
Попытались — и создали сущий ад.

Путь ученых тернистым был с давних пор.
Сколько нужно терпенья на том пути!
Искрой мысли пришлось зажигать костер,
Ради правды на верную смерть идти.

Атом — это исток всепобедных сил,
Нужно, чтобы он благом для жизни стал,
Чтобы шлюз новой мощи он нам открыл
И бессмертную жизнь механизмам дал.

Ключ к сокровищу найден на веки веков,
Но лишь ад отомкнули таким ключом:
Человечества грязь, шайка злых дельцов
Жизни свежий цветник рада сжечь костром.

Водород или атом для них — война.
Что достоинство им и что честь людей?
Возмущенная совесть кричать должна,
Гнев отныне пусть в сердце горит сильней!

Что предателю счастье и красота, —
Отдал душу он сам за кошель тугой,
Он не знает любви, жизнь его пуста,
Совесть, честь для него — только звук пустой.

Взрыва атомных бомб он спокойно ждет,
Город вишен цветущих он сжечь готов.
Человеком назвать его кто рискнет?
Но истории гнев, как всегда, суров.

Видишь трупы — душа еще в них жива.
Горе город-страдалец забыть не мог.
Слезы льют опаленные деревья,
Раскалившийся уголь мне сердце сжег.

Это хищных и злых подлецов вина,
Их приказ выполнял один человек,
Он смертельные сеял здесь семена,
А тревоги всем хватит теперь навек.

Ты какую же матью был рожден
И каким же злым сыном ты рос у ней?
Человеческой кровью ты опьянен,
Продав золоту душу, «герой-злодей».

День и ночь скорбный голос зовет к нам,
То израненный город зовет опять.
Мертвецы и больные остались там, —
Как же можешь, злодей, ты спокойно спать?

День и ночь неотступно идут с тобой
Тени тех, кто погиб, кто без рук, без ног,
И колени твои в их крови густой.
Сквозь людские страдания твой путь пролегал.

Всех седых уважаемых старцев кровь,
Жемчуг всех материнских живых сердец,
Души девушек юных, их жизнь, любовь —
Смерть нежданная всему принесла конец.

Сколько весен прошло — для них нет весны,
И в глазах у больных расплылся туман.
Все до срока они умереть должны,
В их ушах до сих пор не умолк уран.

Что слуге Капитала их горький стон?
Никакие его не примут слова.
Плачет все на земле, лишь не плачет он —
Ведь и совесть его навсегда мертва.

Не собьется с орбиты наш шар, земной —
Угнетенья, тревог и войн караван.
Он, страдая, летит, исходя слезой,
Безнадежно терпя столько горьких ран.

Даже скалы страдают от тяжких бед,
Плачут тени, и камень сам слезы льет.
Страшный миру захватчик приносит вред,
Капиталу же смерть — лишь большой доход.

Обречен на погибель ты, Капитал, —
Миллионного гнева встает волна.
Пусть для мирных народов ты цепь сковал —
Не помогут жестокость, грабеж, война.

Бомбы... Бомбы твои — порожденье зла,
Душу ржавчины ты ослепил пятном.
Спросит мир: где же совесть твоя была?
Смерть уже на пороге стоит твоим.

Человек! Ты проклятья несешь черты.
Зла такого наш мир не знавал веков.
Честь поправ, только золота жаждешь ты.
Не достоин ты имени «человек»!

О, злодейство! Не в силах я продолжать.
Задержалось перо, речь моя нема.
Я задумаюсь — сердце горит опять.
Горе грудь мне сожгло; пред глазами тьма.

Черной тучею гнев стал в груди моей,
Речь моя бьет теперь, словно град крутой.
Угнетенный встает на тебя, злодей,
Он могильной придавит тебя плитой.

Не боимся мы жертв, мы на бой пойдем.
Знай, что трудно нам руки теперь сковать:
Если даже сожжешь ты родной наш дом,
Разве может оковы душа принять?

Генералы Японии много зла
Дали горестной этой стране в удел.
Трудной жизнь бедняков там всегда была,
Но терпению всякому есть предел.

Революция страны прошла грозой,
Плетью-молнией прежний разбила гнет,
Озарила рабам она путь прямой
И отверзла плотину могучих вод.

Посмотрите на землю, друзья, с орбит
Космонавтов иль даже самой Луны, —
Шар земной весь лучами в цветах покрыт,
Мчится вечным путем молодой весны.

Рана века в душе моей всё же горит.
Потому и стихи мои — как вулкан.
Верю: счастье придет и весна победит,
Человечество сбросит насилие аркан.

Хиросима свое подняла чело.
Нам защита от атомных бомб дана.
Человек еще жив, победит он зло!
Но не смыть уже с совести нашей пятна.

Тихо цвы склонились в тоске своей,
И по листьям их в море слеза течет,
От огня пострадали сердца камней,
И мучениям их уж потерян счет.

О Япония, солнца ты колыбель,
Наше сердце твоею болит тоской.
Ты развеи безысходного горя хмель,
Мы душою с народом твоим, с тобой!

Хиросима! Забыть нельзя ничего.
Гнев в душе не устанет у нас пылать.
День твой — траур Истории. За него
Будут черные силы ответ держать!

Хиросима! За далью ты гор, морей.
От меня, как от друга, прими привет.
Я еще не ступал по земле твоей,
Но делю твою скорбь вот уж двадцать лет.

Эти вишни, сады, мирный твой народ
Я не видел, я не был в твоём краю,
Но с тобой сгорал я в тот страшный год
И с тех пор свое сердце тебе даю!

1965

ГУЛИ И НАВОИ

Я, минувшее распоров,
Разглядеть хочу швы веков,
Суть событий понять спешу
И, легенды найдя, пишу.

Много было легенд пустых,
Но зерно правды есть и в них:
Там, где камни лежат горой,
И алмаз заблестит порой.

Вот одна из легенд таких —
Чистый жемчуг среди других.
Нет покоя мыслям моим.
Словно вихрю, я отдан им.

Млечный Путь — вот след Навои,
Озарил он пути мой,
Скромный, чистый душой поэт.
Им живу — через столько лет!

Он и в юности знал почет,
Обладатель земных щедрот.
Взор — сияние доброты,
Голос нежен, чисты черты,

Он в движениях легок своих,
В нем кристальна душа, как стих,
Черный ус его неширок,
Стан обвил из шелка платок.

Весь гарем он успел смутить:
«Мне б его возлюбленной быть!»
«Посмотри, какой взгляд живой!»
— «А вазир к тому ж ходостой!»

Духом крепок вазир-поэт,
Он не любит хмельных бесед.
Он, как факел, горя во мгле,
Верит в счастья свет на земле.

К бедняку, что судьбе не рад,
Сострадательн он, как брат,
А услышит чью вражью речь, —
Гнев сверкнет, словно острый меч,

Он защитник людей от зла,
И улыбка его светла,
Сила юности, чувств родник
Не иссякнет в нем ни на миг.

Он умеет беречь казну,
Чтоб счастливой сделать страну,
Дать ей воду, науке кров
И больницы для бедняков.

Много дел у него, забот,
В мыслях только одно — народ.
Бедняки низко спину гнут,
Грусть в их сердце, тяжел их труд,

Он стране дать хотел бы мир,
Пышет сердце его, как тандыр,
И в аду, охватившем грудь,
Ни на миг ему не вздохнуть.

В жажде правды людей труда
Не оставит он никогда.
Если б был справедлив султан,
Стал счастливым бы Хорасан,

В нем никто не знал бы зла,
Жизнь, как небо, была б светла...
Полн вазир и надежд, и сил,
Не растрочен в нем сердца пыл,

Всеми он во дворце почтен,
Словно месяц — нет, солнце! — он!
И приветлив, и чист душой,
Мысль как молния, ум живой, —

Всем вазир молодой хорош.
Где сравненья ему найдешь!
И царевны за ним следят,
Каждый жест подмечают, взгляд.

Слышен шепот со всех сторон:
«Ах, вазир! Как опасен он!»

* * *

Вдохновение в час ночной
В нас стихов пробуждает рой,
Окрыленный мечтой поэт
Пишет, пишет, забыв весь свет,

И газелей тех красота
Переходит из уст в уста.
Девы, вспыхнувшие, как тюльпан,
Над газелями клонят стан,

У старух по морщинам щек
Слез-жемчужин бежит поток.
Вдохновенная вязь стихов
Всем мила испокон веков.
Мудр вазир, но от всех невзгод
Как ему оградить народ?

* * *

Был просторен султана дом.
Мрамор пола покрыт ковром,
И в цветных узорах ковра.
Света с тенью слилась игра.

Ослепляют взор их цвета,
Сердце радуется красота.
Сколько здесь ковров дорогих,
Чьи же ноги целуют их?
Руки чьи их соткать могли?
Чьи мечты в их узор легли?

Сквозь решеток резной узор
Виден сад и обширный двор,
На дворец, ослепивший глаз,
Смотрит солнце — небес алмаз.

Расцветает фруктовый сад,
Свеж и чист тополей наряд,
Нежно дышит вокруг весна,
Дань с поэтов берет она.

* * *

Молчалив Хусейн Байкара,
Он задумчив, угрюм с утра.
За решеткой ему слышны
Птичьи трели — привет весны,

И внимает его тоска
Тайнам птичьего языка.
Невысок он, широк в плечах,
Сила грозного льва в руках,

На коне, устремляясь в бой,
Устрашает он всех собой.
Саблей с детства владеть он мог,
Шах из лука меткий стрелок,

Отдыхая от битв своих,
Он газели слагает стих.
Но важнее для шаха трон,
Долг и счастье в нем видит он.

Доброта есть в его глазах,
Но и гнев, что внушает страх.
Многоцветна чадма; на ней
Драгоценных нитка камней.

Но сегодня его мечты
Новым помыслом заняты:
Завещал ему царство дед.
Как идти за великим вслед,

Как врагов растоптать в пыли,
Чтобы дрогнула грудь земли?
Хмур и мрачен Хусейн Байкара,
Дум тревожных пришла пора.

С Навои доля груз забот,
Шах его с нетерпением ждет.
«Вы мрачны — сужу по лицу.
Не пристала строгость певцу».

Шах навстречу певцу встает,
И склонился в поклоне тот.
Им обычай был соблюден,
Для придворных это закон.

«Алишер, если б каждый бек
Был такой, как вы, человек,
Мог бы шах ваш спокойно спать
И печаль из сердца изгнать.

Но что делать мне средь волков?
Каждый здесь мне мешать готов».
«Падишах, ваши мысли верны.
Беки — это волки страны.

Лишь дехкане опора вам,
Богачи же — подобны клещам.
Справедливостью до конца
Пусть султан покорит сердца.

Надо с Индией торговать.
Нужен ваш указ и печать.
Умных мы отправим послов,
Снарядим караван даров.

Торговать с великой страной,
В мире жить с ней — вот путь прямой.
Есть и Чин, где искусство цветет,
Час общенья с ним настает.

Нет в торговле ставки верней.
Что арабских лучше коней?
Путь к богатству в ваших руках.
Вот совет вам, мой падишах!

Знание чти, это правды родник,
Свет приемлет душа от книг.
Философия для мудреца —
Это свет, что питает сердца».

И Хусейн улыбнулся в ответ:
«Вот разумный, хороший совет.
Не забудьте только, что меч
Может узел любой рассечь...»

Донесли мне, что вы, мудрец,
Дали в долг сто гиссарских овец
На базаре кому-то в Карши.
Это что ж? Просто дар от души?

Разве кто-то из этих людей
Долг вернет после смерти моей?»
«Это так! Но в поступке моем
Тайный смысл есть. Я каюсь в том.

Покупатель от сделки такой
Мудрость шаха почтит хвалой,
Скажет: «Он справедлив в делах».
Рассмеялся в ответ падишах

И смеялся опять и опять,
Лишь случалось о том вспоминать.
Шаху нравился этот рассказ,
Он к нему возвращался не раз.

Повелитель на ложе возлег,
Отыскал под подушкой листок:
«Вот стихи! Прочитайте о нем —
О рыдающем сердце моем».

И почтительно в руки свои
Принял шелковый лист Навои,
Воспевавшую дев и любовь,
Перечел он газель вновь и вновь,

И вернул ее шаху потом
С озаренным улыбкой лицом.
«Вы в поэзии тоже султан!
Пусть же вечно цветет Хорасан.

Чтоб в нем после Тимура поры
Был прославлен и век Байкары!»
И довольный вздохнул падишах,
Тайну сердца он выдал в стихах.

«Это только мечта и тоска
У такого, как я, бедняка».
И листок, продолжая вздыхать,
Положил под подушку опять.

«Тьма забот, государственных дел
У владыки, но кто бы посмел
Осуждать за стихи о любви?» —
Улыбаясь, сказал Навон.

И вазир, и его падишах —
Оба радость находят в стихах,
Им приятно газели читать
И в стихах разговор продолжать,

Всех поэзии верных друзей
Приглашая к беседе своей.
Шумным пиршествам каждый здесь рад.
И рубаб, и тамбуры гремят,

Пляшут девушки, гибки, стройны,
Их искусство — дыханье весны,
Виночерпии носят кругом
Чаши с ярким янтарным вином.

Отпивает другим не в пример
Лишь глоток на пиру Алишер.
Шах заметил: «Поэт вы вдвойне,
Первый в рифмах; мы ж — только в вине».

Длится радостный пир без конца,
Шум веселья летит из дворца,
И расходятся беки, пьяны...
Навои пьян от звуков струны.

* * *

Ей восемнадцать, в ее года
В небе любви она как звезда.
Стан ее гибок, как цветок,
Сердце терзают родинки щек,

Уст приоткрытых улыбка нежна,
Манит к себе поцелуи она.
Облик ее с чистым, светлым челом
Всех обжигает — о, горе! — огнем.

Брови — два тонких лука у ней,
Месяц ей дарит сиянье ночей,
Шелк по спине распутившихся кос
Каждому сердцу волнение принес,

Грудь молодая нежна и чиста...
Всё совершенство в ней, всё красота.
Девушка, кончив платочек свой мыть,
Вышла на кровлю его просушить.

Видит — в любовное впад забытье,
Юноша взора не сводит с нее.
Тайной тревогой Гули смущена,
Что с ней творится, не знает она.

Взор не отводит теперь и сама
С юноши, чья белоснежна чалма.
Образ из многих прочитанных книг
В сердце у юноши сразу возник.

Думы, мечты Навои обрели
В девушке этой Ширин и Лейли.
В свежем дыханье рассветной поры
И в ослепительном блеске жары,

В чистом блаженстве творимых стихов
Он свою пери искать был готов.
Белое облако, лькующее свет, —
Вот был какую мечтой он согрет.

Видит сейчас он ее пред собой,
Слушает сердца прерывистый бой,
«Боже, вот та, что пленила меня!»
И задержал он уздою коня,

На стременах изумленно привстал,
«Девушку эту всю жизнь я искал,
Видел в мечтах неустанно всегда.
В небе моем вдруг родилась звезда...»

Только улыбка, один только взгляд, —
И уж сердца их согласно горят.
Но ускользнула вдруг дева-мечта,
Скрылась куда-то, и крыша пуста.

Едет в смятении прочь Алишер,
Строчку за строчкой слагая в размер,
Едет поэт, продолжая мечтать,
Мысли в волнение не в силах унять.

В улицах узких, как в чуждой стране.
Шепчет: «Где я? Наяву иль во сне?»
Вспыхнула пламенем ярким любовь,
К дому Гули подъезжает он вновь.

Спрыгнул с коня, постучал у ворот
Весь в нетерпении — сердце не ждет.
Дома хозяин, садовник-старик,
Видя вазира, в поклоне поник.

Он в изумлении — верить иль нет? —
Но протянул ему руку поэт.
Принял садовник коня, а потом
Гостя проводит почтительно в дом.

Руки молитвенно поднял поэт,
Как подобает в начале бесед,
Ими провел по лицу, и, смущен,
Старцу Салиху доверился он:

«Счастьем почел бы достойнейшим я,
Если бы принял меня ты в зятья». —
«Счел бы за честь, поклонюсь до земли,
Только достойна ль вазира Гули?»

Дочку об этом спросить бы я мог,
Сердца отраду, единый цветок». —
В дальний покой к ней старик побежал,
Дочке о госте скорей рассказал.

Мудро Гули отвечала ему:
«Слово вазира я в сердце приму.
Даже рабыней готова я стать,
Лишь бы с ним радость любви разделять».

Вышел довольным Салих-садовод, —
Этот союз — величайший почет.
«Благословенна будь воля твоя.
Дочка согласна, согласен и я».

Встал Алишер и с поклоном изрек:
«С волей отца сам в согласи бог». —
Вынул из пояса горсть золотых:
«Это подарок мой дому, Салих!»

И старику улыбнулася поэт,
Лик его вспыхнул, восторгом согрет.
Сердца блаженство пьянее вина,
Жизнь его счастьем отныне полна.

Скачет поэт на буланом коне,
Словно на крыльях летит, как во сне.

* * *

В комнате этой, обширной, простой,
С тонкой, изящной решеткой резной,
Краски ковров, как огонь, горячи,
Всюду подушки лежат, курпачи.

Скромность поэту всего здесь милей,
Видно, не любит он лишних вещей.
Возле тахты две свечи зажжены.
Думы поэта волнением полны,

Мысль о любимой ярка и жива,
В ровные строчки ложатся слова.
Словно струна в его сердце поет,
Мысли уносятся в дивный полет,

Строки стихов заполняют листы:
«Я ли достоин твоей красоты?
Долго искал я тебя и нашел,
Свет в мою душу отныне сошел.

Ты не уходишь из мыслей моих,
Страстной любовью пылает мой стих,
Весь я горю, как Меджнун и Фархад,
Выпью ли кубок любовных услад?

Не оставляй меня, сердце-Гули,
Что без тебя мне блаженства земли?...»
Вот уж растаяла тьма пред зарей,
С неба спускается шелк голубой.

Любит безмолвие утра поэт,
Он наслаждается, встретив рассвет.
Певчие птицы, как он, влюблены,
Песней приветствуют радость весны,

Славят на тысячу разных ладов
Юные листья и свежесть цветов.
Утро прекрасно в весенние дни
И вдохновенью поэта сродни.

Вот он проходит в тени тополей,
Гордый великой любовью своей,
Там, где в росе и цветы, и кусты,
В мире объявшей его красоты,

Средь распустившихся роз цветника
И возникает газели строка.
А на душе и легко, и светло,
Словно нежданное счастье пришло.

Ветер, коснувшийся зреющих лоз,
Радость, спокойствие сердцу принес.
«Чудо! Душа моя счастьем полна,
Словно мной выпита чаша вина...»

В страстном волнении шепчет поэт:
«Вижу, предела мечте моей нет,
Строки мои волшебство обрели.
Чей это образ? Не ты ли, Гули?»

«О мой любимый! Разлука тяжка.
Вижу тебя — исчезает тоска.
Как я томлюсь в ожиданье тебя,
Жажду, страдаю, всем сердцем любя.

Чашу любви мне поднес милый мой,
Выпила я — и утрачен покой...»
В грезах он девушку видит опять.
Как же всё это пером описать?

И обнимает Гули Навои:
«Жаль, что она — лишь мечтанья мой...
Вот ее тень легкий ветер унес.
Где её спрятали заросли роз?»

Пред Алишером, что в грусть погружен,
Юноша встал и отвесил поклон.
Сена охапку он нес — и совет
Дал ему с доброй улыбкой поэт:

«Вижу, заботишься ты о коне,
Пусть же он будет доволен вполне».
«Да, уж такого коня не найдешь.
Как иноходец, во всем он хорош!

Строен, понятлив, резвее огня.
Надо Дульдудем назвать бы коня».
«И в состязаньях он добрый пример», —
Молвил, взглянув на коня, Алишер.

Дальше обходит он медленно сад.
Где виноградников листья блестят.
В думы душа его погружена:
Вечна природа и тайны полна.

Принял он чашу с водой ледяной,
Преподнесенную верным слугой,
Вместе со слугами завтрак потом
Он разделил за их общим столом.

На дастархане хлеб, сливки, халва,
Черный кишмиш — всем лекарствам глава.
А у ворот иноходец стоит,
Быстро его во дворец он домчит.

* * *

Вместе с рассветом проснулся Герат,
Как муравьи, всюду люди спешат,
Ветер несет свои песни с холмов,
Птицы за кормом летят для птенцов.

Солнце еще поднимает венец,
А за трудом уже резчик, кузнец.
Снова шумит суетливый базар,
Люди толпятся, разложен товар.

Кто на коне, кто пешком, второпях
Спорят, толкуются в торговых рядах.
Воплям отшельников вторит мясник:
«Жирное мясо! Бараний язык!»

В кузницах грохот — подковы куют,
С чашкой слепцы подаяния ждут,
Груды лепешек в корзинах несут
На голове торгоши там и тут.

Едет верхом на худом ишаке
Старец в холстине, в простом колпаке.
Едет богач, скакуна горяча,
Золотом, в пояс зашитым, бренча.

В мраморе вязь выбивает старик,
К жизни тяжелой давно он привык.
Юноша, старец, красавец, урод —
Всех их базар суетливый влечет.

Горы здесь шелка — любой выбирай!
Этот шлет Индия, этот — Китай,
Сабли, кинжалы, охотничий рог
И с золотой рукояткой клинок,

Сласти, печенье, горою халва...
Кругом от гама идет голова.
Золота звон и продажа вещей,
Неумолкающий спор торгашей.

Вот и верблюды проходят в Герат,
Их колокольчики глухо бренчат.
Шумен базар, суетится народ:
Кто покупает, а кто продает.

В общий крикливый всё спуталось хор, —
Кто простоват, кто умен, кто хитер.
Едет сюда Алишер на коне.
Все расступились, стоят в стороне.

Юными, старыми — всеми почтен,
Он отвечает на каждый поклон.
Весь погруженный в мечтанья свои,
Едет Хусейна вазир, Навои.

Думы к базару его привели,
Хочет он жемчуг купить для Гули.
Вот ювелирный раскинулся ряд,
Возле сокровищ торговцы сидят,

Медные серьги и редкий алмаз —
Всё для подарков и всё напоказ.
И Алишер здесь с коня соскочил,
Мальчик-бедняк повода подхватил.

Гостю навстречу бежит в тот же миг
Сам ювелир, седовласый старик.
Два одеяла рука достает,
С общих вопросов беседа идет.

«Чем я могу услужить, господин?
Есть драгоценности, жемчуг, рубин...»
«Жемчуг ценнейший мне нужен, купец!» —
И продавцу улыбнулся мудрец.

«Есть и такой!» — Ювелир впопыхах
Ищет, что нужно, в широких шкафах.
Выбрал, подносит: «Взгляни, господин,
На этот дар океанских глубин.

Море такое творит волшебство,
Нет на базаре ценней ничего!»
Светлые мысли к поэту пришли:
Будет ли жемчуг достоин Гули?

Выбрана ценная нитка одна:
«Эта годится. Какая цена?
У ожерелья заманчивый вид,
В каждой жемчужине солнце горит».

«Вкус у вас верный. Могу я за них
Взять с вашей светлости сто золотых?
Вас ведь такая цена не смутит?» —
И ювелир на поэта глядит.

Пояс поэт размотал до конца,
Золото сыплет в ладони купца
И, завершая с ним щедрый расчет,
Жемчуг за пазуху тотчас кладет.

Конь-иноходец идет не спеша,
У Алишера ликует душа,
И расступаются все впереди,
Руки с почтеньем скрестив на груди.

Он же улыбкою или кивком
Им на пути отвечает своим.
Вот ее сад, вот обитель мечты,
Эти ворота — врата красоты.

Входит во двор он, а конь в поводу.
Где же Гули? Здесь, в тенистом саду.
Книгу оставив, смущенья полна,
Гостя, краснея, встречает она.

«О, как я счастлив!» — промолвил поэт,
Девушка тихо склонилась в ответ,
С нежной улыбкою к дому ведет,
С легким поклоном подушки кладет,

Рядом сажает. Влюбленных очей
Гость не отводит от милой своей.
Радость у них засияла в глазах,
Сказка любви и в сердцах, и в речах.

В нежной беседе, в порыве любви
Начал газели читать Навои.
«Это Лутфи несравненный диван,
Он всем влюбленным для радости дан!»

И, упиваясь стихов волшебством,
Начал читать их листок за листком.
«Солнце — стихи! Их читать наизусть —
Сразу исчезнут печали и грусть», —

Так, улыбаясь, Гули говорит.
Радость в глазах у поэта горит.
Речи свои продолжает Гули:
«Ты, Алишер, — светоч нашей земли».

«Нет, — отвечает поэт, — это ты —
Солнце вселенной и свет красоты.
Встречусь с тобой — тает сердце в груди.
Вот мой подарок! Гули, погляди!»

В очаровании смотрит она,
Радость во взоре ее зажжена,
Гладит жемчужины нежной рукой:
«Только к лицу ли мне жемчуг такой?»

«Жемчуг, что морем рожден голубым,
Станет теперь украшеньем твоим!»
Так, созерцая Гули красоту,
Ловит поэт каждый жест на лету.

Эти влюбленные, сидя вдвоем,
Мир позабыли в блаженстве своем.
«Этой минуты,— промолвил поэт,—
Мне бы хватило на тысячу лет!»

«Я не согласна,— сказала Гули, —
Дня не могла б я прожить без любви,
Но как часами любовь измерять?»
Оба от счастья смеются опять.

Остановилось и время в тот миг,
В сердце весь мир необъятный возник,
Словно парит в поднебесье душа,
Девушка шепчет: «Как жизнь хороша!»

Хочется факелом сердцу пылать.
Он ее просит газель прочитать,
Но уклонилась в смущенье она:
«Может, приятней тамбура струна?»

Мир так прекрасен в весенние дни,
Людам блаженство приносят они.
Звуки тамбура снимают печаль,
Думы за ними уносятся вдаль».

Девушка тронула струны — и вот
В души им радость мелодия льет.
«Райское счастье природа дарит», —
Полный восторга, поэт говорит.

Он опьянен наслаждением любви,
Чистая радость струится в крови.
«Кто тебе это искусство внушил?»
— «Сад мне улыбку свою подарил...»

Снова мелодия счастья слышна,
Радость в душе поднимает она.
Просит Гули ей стихи почитать.
«Но пред тобой я могу лишь молчать».

Светом любви озаряя мне путь,
Солнцем мою ты наполнила грудь,
Сказку о счастье внушаешь мне ты,
В ноги тебе я бросал бы цветы,

Сердцем с тобой уносился бы вдаль,
Ты для меня — как цветущий миндаль!»
Скромный приносит Гули дастархан.
Клонит поэт перед нею свой стан.

Не прекращается их разговор.
Вечер свое покрывало простер,
И Алишер, словно другу, Гули
Хочет доверить мечтанья свои.

Всё для страны своей сделать он рад,
Чтобы как райский цвела она сад.
Тут подошел к ним садовник-отец,
И перед ним встал с почтеньем мудрец.

Лет в пятьдесят садовод-чудодей
Буквы алиф был осанкой стройней.
Скромный и мудрый, в халате до пят,
Он философией жизни богат.

«Сад — вот любимый наш труд, господин!»
Чтит Навои эту мудрость седин,
Старца сажает в почетном углу,
Тихо берет от него пиалу.

Длится беседа, поэт же при том
Взгляд на Гули обращает тайком.
Старец о трудных твердит временах,
Ценах базарных, торговых делах...

Но поднимается с места поэт,
Трудно прервать нить приятных бесед,
Трудно расстаться с Гули, но она
Тоже встает, сожаленья полна,
И говорит с запыхавшим лицом:
«Гостя всегда ожидает наш дом...»

* * *

Едет Хусейн на охоту, за ним
Следуют беки один за другим,
Справа от шаха вазир Алишер,
Прост в обращенье, другим не в пример.
А Байкара — это гордость сама,
Пышно уложена в складки чалма,

Перья колышутся от ветерка,
Словно, сверкая, струится река.

Едет на стройном коне падишах.
Люди толпятся на крышах, в дверях,
Кони бьют землю копытами в лад.
Даже старухи вползти норовят

За молодыми на крышу, дувал,—
Только б увидеть, как шах проезжал!
Стража проходит — к отряду отряд —
Военачальников блещет наряд,—

Выезд обычных султанских охот
Напоминает военный поход:
Кухню везут с целой грудой шатров,
Бочки вина для победных пиров.

Вдруг Байкара, что скакал впереди,
Тихо шепнул Алишеру: «Гляди!»
Видит в решетке окна Навои
Белый кисейный платочек Гули,

Не заслонивший ее красоты.
Вмиг оживились Хусейна черты,
Им овладела неожиданная дрожь,
Словно вошел в него молнией нож.

«Ах,— он подумал,— еще никогда
Мне не являлась такая звезда!»
Смотрит султан, забывая весь свет...
Девушка скрылась — ее уже нет.

Боль по душе Алишера прошла,
Словно ее поразила стрела.
Шепчет султан: «Той красавицы взор
В думах моих будет жить с этих пор.

Новый вдруг светоч зажегся в груди,
Новую вижу любовь впереди».
Горько скрывает в душе Навои
Тяжкую думу, страданья свои.

«Да,— говорит он,— разлука тяжка...»
Шах отвечает: «Моя же тоска...»

Но не ответил поэт ничего —
В грозной опасности счастье его.

Нежится в утреннем ветре земля.
Город далеко, вокруг лишь поля.
Псы впереди, слышны крики псарей.
Скачет султан за охотой своей.

* * *

Вот Алишер покидает седло,—
Видно, для отдыха время пришло.
Кони пасутся в траве у горы,
Всюду заране разбиты шатры.

Веселы спутники шахских охот,
С ними поэт разговоры ведет.
Буря в душе никому не видна,
Сердце пронизано болью до дна.

Шах восседает в шатре среди гостей,
Гордый удачной охотой своей.
Жарят барана, разлили вино,
Но у поэта на сердце темно.
Чашу он поднял, улыбка ясна.
Спорить с судьбою? Всесильна она.

* * *

Свatom явился кази у ворот:
Нос преогромный, на лбу его пот,
Толстой чалму наverts он копной,
Землю халат подметает полой.

Старый садовник в испуге дрожит,
Руки на грудь: «Господин, прикажи...»
Гость для приличья о том и о сем
Речь свою начал, добавив потом:

«Сват я-султана. Великий наш шах
Мне приказал у тебя быть в гостях.
Он полюбил твою дочку Гули.
Непостижимы нам тайны любви...»

Долго хихикает толстый судья:
«Шаха отвергнет ли дочка твоя?»

Молча пред гостем садовник сидит
И, поклонившись, ему говорит:

«Надо спросить ее. Дочь ведь одна»!
А про себя: «Согласится ль она?»
И возвратился старик: «Господин,
Путь у Гули моей только один.

Знай же: у ней уже суженый есть.
Слово нарушив, погубим мы честь».
Сват от досады свой ворот схватил
И в изумленье слюну проглотил.



Мрачен на троне воссевший хакан,
Взор его гневен, а в сердце туман.
Морем волнуется шаха душа:
Новая девушка так хороша!

Только от свата на этот он раз
Слышит о том, что получен отказ.
Где Алишер? Но его не найдут.
Младший вазир за него тут как тут.

Шах говорит: «Как томлюсь я, любя!
Вся и надежда моя на тебя».
Младший вазир как на крыльях спешит,
Он и вселенную всю облетит,

По мановению шахской руки
Многих красавиц ловил он в силки.
Едет к садовнику: «Шаха приказ —
Добрый ответ получить мне от вас».

К дочке отец поспешил со всех ног:
«Не откажи! Да простит тебя бог!»
Девушка стала бледней полотна.
Потом холодным облилась она.

«Дочка, беспилны мы все пред судьбой,
Жребий тебе предназначен такой...»
Плачет Гули: «Алишер, жизнь моя!
Горе мне! Слово нарушила я».

С доброю вестью, довольный вполне,
Пухом посланец летит на коне.
Рад Байкара: «Справим свадебный пир,
Дрогнут тогда семь небес и весь мир!»



Час полнолуния. Ночь так светла.
Но для влюбленных сгущается мгла.
Перед разлукой поэт и Гули
Только тревогу и грусть обрели.

Туча покрыла цветник их души,
Молча сидят они рядом в тиши,
В Млечном Пути звезды-угли горят,
Ищет спасенья в них девушки взгляд.

«Гуль, я пойду за тобой до конца,
В звездной золе наши тлеют сердца.
Знай, пораженный такой же стрелой,
Сам истекаю я кровью живой».

Список дивана поэт достает:
«Образ твой в сердце навеки живет.
Эти газели тебе я дарю.
Не отвергай их: душой в них горю.

Здесь о любви говорится моей,
Вечной любви говорится моей.
Кто ж из нас — ты иль я? — неверны?»
— «Муки равно нам судьбою даны».

Горько Гули продолжает рыдать:
«Я б и рабыней могла тебе стать!»
«Полно, Гули, — иль заплачу и я,
Ты навсегда жизнь и радость моя.

Соединения не дал нам рок,
В горькой разлуке наш вянет цветок...»
Шуткой поэт утешает Гули,
Хочет, чтоб мысли от горя ушли.

«Станешь султаншей в величье своем,
Я ж пред тобой буду только рабом», —
Так говорит он, а в сердце тоска.
О, как судьбы беспощадна рука!

Где-то петух закричал в стороне.
«Милый, ты помни всегда обо мне!»
Жемчуг горит на груди у Гули.
«Где бы в разлуке пути ни легли,

Глядя на жемчуг, душе дорогой,
Буду везде представлять я мечтой,
Как я склонилась к тебе в забытьи...
Эти жемчужины — слезы мои».

Жемчуга нитка так ярко горит,
Очи у девушки горе темнит...
«Как малодушен я,— думал поэт
В горькой печали, под тяжестью бед.»

Образ, что девушке этой под стать,
Воображенье бессильно создать...»
Встал он: «Гули, дорогая, прощай!
Слезы сдержу я, и ты не рыдай!»

Стала душа его горсткой золы.
Тихо пошел он. Шаги тяжелы.
Так и расстались Гули и поэт.
Осиротевшим, им радости нет.
День уже темень успел превозмочь,
Неповторимая минула ночь.

* * *

Шах восклицает, от страсти дрожа.
«Ты словно солнце, Гули-госпожа!»
«О повелитель, великий хакан!»
И перед ним она клонит свой стан.

Алый румянец на щечках поблек.
Шах же целует: «Послал тебе бог!»
Вот он садится в переднем углу,
Молча глядит, капли пота на лбу.

Девушки очи смятеньем полны,—
Так они стали темны и грустны.
Нежно сияет ее красота,
Сомкнуты только печально уста,

Пылкою страстью пред ней обуян,
Вздрогнул, как лист на платане, султан,

В радости слова не может сказать,
Словно уста заградила печать.

Многих красавиц любовь он знал,
Он их из знатных родов выбирал,
Но весь сияющий облик Гули
Чист был, как свежее утро земли.

Чувством внезапным Хусейн ослеплен,
Всё перед ним расплылось, словно сон.
Просит Гули: «Повелитель царей,
Дайте отсрочку мне на сорок дней,

Низко склоняясь пред светлейшим лицом,
Ваша рабыня вас просит о том».
В просьбе не может ей шах отказать,
Вынужден он и томиться, и ждать.

Снова Гули: «Дать согласие вам жаль,
Но не к лицу вам такая печаль».
Шах ей в ответ: «Всё, что есть у меня,
Всё я отдам тебе с этого дня.

Ты — и луна, и звезда в небесах,
Я же — тобой попираемый прах.
Как же тебе я ответил бы: «Нет»?
Ты и очей и души моей свет».

Низко склонилась пред шахом Гули,
Гордость в душе, но поклон до земли.
«Шах милосердный, я вами горда,
Правда вам спутником будет всегда.

Благодарю, справедливейший шах!» —
Молвит она со слезами в глазах.
Встал Байкара и печальный идет...
Так повествует в легенде народ.

* * *

Тает на ложе Гули, как свеча,
Тяжкая рана души горяча.
Сорок дней минуло. Стала Гули
Тенью, и на сердце тучи легли.

Горе вконец подточило ее,
Мраком окутало всё бытие.
В небе кровавые тучи горят,
В теле ее разливается яд.

Тихо вздохнула — конец настает,
Смертная тьма скоро очи зальет.
Встал на колени у ложа поэт,
В тягостном горе забывший весь свет.

Тихо прощается Гуль с Навои,
Тщится сказать ему слово любви:
«Иней весну моей жизни сгубил,
Больше бороться с судьбою нет сил.
Смерть уже близко, не видеть мне дня.
Просьба одна только есть у меня:

Вы на плечах мой несите табут,
Пусть и любовь мою в землю кладут.
Бог вам пошлет облегченье тоски,
Сердце разбилось мое на куски.

Прах мой неся, слез не лейте из глаз,—
Несокрушима судьба, как алмаз».
Шах потрясен ее гибелью сам,
Двор он покинул, дал волю слезам.

С тихой улыбкой она отошла,
Взор ей закрыла смертельная мгла,
И над умолкшей навеки Гули
Слезы кровавые льет Навои.

Горе на сердце горою лежит,
Шаху Хусейну поэт говорит:

«Сумрак дворца ее душу унес...»
— «Гроб кипарисный ей, саван из роз...»
И Алишеру, рыдая, на грудь
Бросился шах; он не в силах вздохнуть.

* * *

Тихо качается гроб на плечах,
Люди печальны все, лица в слезах.
Стонут рабыни, и, плача, народ
Тихо на кладбище тело несет.

В горе поник Алишер головой,
Слезы роняет одну за другой,
Горестный груз подпирает плечом,
Скорбным душа полыхает огнем.

Можно ли камень слезой растопить?
Солнце свое он несет хоронить...
Скрыта Гули под землю сырой,
Там обрела она вечный покой...

1968

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

- Азан** — раннее утро; призыв на утреннюю молитву.
- Айван** — веранда, терраса при доме.
- Акын** — казахский народный поэт.
- Алай** — Алайский хребет, замыкающий с юга Ферганскую долину.
- Алача** — полосатая хлопчатобумажная или полушелковая ткань кустарного производства.
- Альяр** — заздравная; песенка, исполняемая с чашей в руке в качестве тоста.
- Амалдар** — должностное лицо, чиновник.
- Арасту** — Аристотель (384-322 до н. э.), древнегреческий философ.
- Аргамак** — порода быстрых и легких верховых лошадей.
- Асад** — название пятого месяца солнечного года, соответствующего периоду 22 июля — 21 августа.
- «Асад-нарасад»** — народное выражение, обозначающее, что в месяце асад сеять не полагается.
- Афлатун** — Платон (428/7-348/7 до н. э.), древнегреческий философ.
- Ашик** — альчик, косточка из коленного сустава барана или теленка, используется как игральная кость.
- Ашички** — игра в кости, альчики.
- Бабур, Захиреддин (1483-1530)** — классик узбекской поэзии, автор книги «Бабур-наме»; прославленный полководец, основатель империи Великих Моголов.
- Бай** — богач.
- Байвачча** — сын богача, байский сын.
- Батыр** — богатырь.
- Бахшиш (бакшиш)** — подаяние.
- Бекасам** — полосатая шелковая материя.
- Бешбармак** — казахское и киргизское национальное блюдо, приготовляемое из тонко нарезанного мяса и раскатанного теста.
- Бешик** — колыбель.
- Бинои, Камаледдин (1453-1512)** — таджикско-персидский поэт, современник Навои.
- Бобо** — дед, старик.
- Богара** — посевы на неполивной земле, часто на склоне предгорных холмов.
- Вазир** — визирь, первый министр при дворе.
- Вуадиль** — поселок, одно из живописных мест Узбекистана, расположенное неподалеку от Шахимардана (Ферганская область).
- Газель** — форма восточной поэзии, род двустиший с единой рифмой через строку, с упоминанием имени автора в последнем двустишии.
- Герат** — город, в котором родился Алишер Навои, столица Хорасана (см.). Расположен на территории Афганистана.
- Гузар** — площадь; оживленное, бойкое место на дорогах, перекрестках; маленький базар.

- Гултаг* — перевал в горах близ Шахимардана.
- Гульканд* — сладкий напиток из лепестков роз.
- Дастан* — народное поэтическое произведение, основанное на легендах и преданиях; поэма.
- Дастархан* — скатерть; в переносном смысле — угощение.
- Дервиш* — отшельник; аскет, приверженец мистического учения; в переносном смысле — странник, нищий.
- Джами, Абдурахман (1414-1492)* — классик таджикско-персидской поэзии, учитель и друг Навои.
- Джейлау* — горное пастбище.
- Джида* — лох восточный узколистный, дерево со съедобными сладко-терпкими плодами.
- Джинн* — злой дух.
- Джугара* — кукуруза.
- Диван* — поэтический сборник одного поэта с определенным порядком расположения материала.
- Домла (домулла)* — учитель; почтительное обращение к образованному человеку.
- Дувал (девар)* — глинобитный забор.
- Дульдуй* — легендарный конь.
- Дутар* — двухструнный музыкальный инструмент.
- Дэв* — мифическое существо громадного роста и страшного вида.
- Ёпирай (Ыпирай)* — междометие, выражающее удивление.
- Заминдар* — землевладелец.
- Зиндан* — темница.
- Имам* — духовный наставник у мусульман, лицо, руководящее молитвой в мечети.
- Ичкари* — внутренняя женская половина дома.
- Ишан* — мусульманское духовное лицо.
- Каймак* — сливки с топленого молока.
- Калам* — тростниковое или камышовое перо.
- Касан* — религиозная подать (обычно — зерном), взимаемая в пользу сельского духовенства.
- Карнай* — музыкальный инструмент, состоящий из большой латунной трубы длиной до трех метров.
- Касыда* — ода, посвященная какому-либо человеку или событию.
- Катык* — кислое молоко.
- Кетмень* — род мотыги с широким лезвием, насаженным перпендикулярно к черенку.
- Кишимш* — сорт мелкого винограда.
- Кок-су* — распространённое название горных рек; здесь — название одной из двух горных речек в Шахимардане; буквально: голубая вода.
- Коран* — священная книга мусульман, содержащая постулаты веры, изложение нравственных, правовых, бытовых норм.
- Козши* — члены организации узбекского трудового крестьянства, связанной с комитетами бедноты в Российской Федерации. Настоящая организация существовала в первые годы коллективизации и объединяла бедняков, батраков и издольщиков.
- Кукнар* — наркотик растительного происхождения.
- Кулах* — островерхая войлочная шапка.
- Кумган* — металлический кувшин.
- «Кумуш-баш»* — детская игра.
- Курмана* — подарок невесте на смотринах за «погляденье».

Кяфир — немусульманин, неверный; в переносном смысле — безбожник.

Лутфи (1366/7-1465/6) — классик узбекской поэзии, старший современник Навои.

Мазар — могила, гробница.

Мангал — жаровня.

Мастава — рисовый суп.

Махалля — городской квартал.

Мираб — лицо, занимающееся распределением воды для поливов.

Мударрис — преподаватель медресе.

Мулла — священник; почтительное обращение к образованному человеку.

Мутавалли — попечитель имущества мусульманской религиозной общины, ханаки (см.).

Муэдзин — служитель мечети, призывающий к молитве с минарета.

Мюрид — последователь шейха (см.), ишана (см.), пира — духовного наставника.

Навои, Алишер (1441-1501) — основоположник узбекской литературы и литературного языка, поэт, ученый, государственный деятель.

Най — род свирели или флейты.

Намаз — обряд молитвы у мусульман, совершаемый пять раз в течение суток.

Нарын — отварное мясо, нарезанное соломкой и перемешанное с тонкой лапшой.

Нас (насвай) — особо приготовленная табачная смесь, закладываемая под язык.

Омач — соха.

Пахлаван — богатырь.

Паранджа — женская одежда в виде халата с ложными рукавами, покрывающая женщину с головой. Обязательное дополнение к парандже — чачван, сетка из конского волоса, закрывающая лицо.

Рикша — перевозчик пассажиров на легкой двуколке, в которую он сам впрягается.

Рубаб — четырех- или шестиструнный щипковый музыкальный инструмент.

Рубаи — четверостишие, в котором рифмуются первая, вторая и четвертая строки и которое заключает в себе законченную поэтическую мысль; форма восточной классической поэзии.

Сагиб (сахиб) — обращение, принятое в Индии и Пакистане, к крупному феодалу или европейцу-колонизатору.

Саз — струнный музыкальный инструмент; символ поэтического таланта и вдохновения.

Сай — горный ручей.

Саям (саям алейкум) — распространенное на Востоке приветствие.

Самса — печеный пирожок с мясом или овощами.

Сандал — углубление в глинобитном полу, в которое кладут раскаленные угли, сверху ставится столик, накрытый одеялом; традиционный способ обогрева в старых среднеазиатских домах.

Саратан — название четвертого месяца солнечного года, соответствующего периоду 22 июня — 21 июля; жаркое время года.

Сардар — военачальник, руководитель.

Суна — глинобитное возвышение, устраиваемое во дворе или в саду для отдыха и сна в летнее время.

- Спир* — большая деревянная кровать, устраиваемая во дворе или в саду для отдыха и сна в летнее время.
- Сурнай* — духовой инструмент, близкий по звучанию к гобой.
- Сюзане* — коврик с вышивкой или аппликацией.
- Табиб* — лекарь, знахарь.
- Табут* — носилки, на которых несут умершего.
- Тсвба* — сожаление, покаяние; междометие, выражающее удивление.
- Таксыр* — почтительное обращение к уважаемому человеку.
- Такыр* — голая степь.
- Тал* — ива.
- Тамбур* (танбур) — трехструнный щипковый музыкальный инструмент.
- Тандыр* — круглая глиняная печь для выпекания лепешек.
- «Тановар»* — узбекская народная танцевальная мелодия.
- Тар* — струнный музыкальный инструмент.
- Той* — свадьба, пиршество.
- Турткуз* — кличка собаки; буквально: четырехглазый.
- «Унсия»* — название библиотеки и прилегающих к ней зданий в Герате (см.), построенных Навои; буквально: Дружественная.
- Уртак* — товарищ.
- Усма* — черно-зеленая краска для бровей, получаемая из растений.
- Факир* — бедный, нищий, иший.
- Хакан* — титул тюрко-монгольских правителей.
- Халиф* — титул духовного главы мусульман.
- Халфа* — помощник учителя в мусульманской школе.
- Ханака* — дервишская обитель.
- Хандаляк* — скороспелый сорт дыни, имеющий круглую форму.
- Хауз* — водоем для питьевой воды.
- «Хафтияк»* — учебник в начальной мусульманской школе, содержащий избранные места из Корана (см.).
- Хашар* — добровольная общественная взаимопомощь при каких-либо работах.
- Хирман* — площадка в поле, куда сносят собираемый урожай.
- Хорасан* — средневековое государство со столицей в Герате (см.), где жил Навои.
- Худжра* — келья.
- Хусейн Байкара (1438-1507)* — правитель Хорасана, поэт.
- Чапан* — стеганый халат, служивший верхней одеждой.
- Чапани* — человек, ведущий свободный образ жизни.
- Чарас* — сорт винограда.
- Чарьки* — грубая обувь из сыромятной кожи.
- Чачван* — сетка из конских волос, закрывающая лицо женщины в парандже (см.).
- Чекмень* — верхняя мужская одежда, полукафтан в талию.
- Чигит* — семена хлопчатника.
- Чилим* — кальян, прибор для курения табака через воду.
- Чорак* — четверть, четвертая часть; мера веса; копитка.
- Шахзаде* — царевич, принц.
- Шейх* — глава мусульманской общины; почетный титул, даваемый ученым и поэтам.
- Ширинтак* — сорт дыни.
- Шурпа* — суп.
- Юлдаш Ахунбабаев (1885—1943)* — первый президент Узбекской Советской Социалистической Республики.

СОДЕРЖАНИЕ

Стихотворения

*Моя поэзия. Перевод Ю. Нейман	5
Вольная птица. Перевод С. Иванова	6
Рабочему. Перевод С. Виленского	7
Чья земля? Перевод С. Виленского	8
Песня. Перевод А. Наумова	9
Звезда летит. Перевод А. Наумова	10
Мой голос. Перевод С. Виленского	11
Самаркандская девушка. Перевод С. Виленского	12
«Безымянная в сердце тревога...» Перевод А. Наумова	13
*«На луга легла ночная тень...»; Перевод Ю. Нейман	14
*«Когда покоюсь я в объятиях мечты...» Перевод Ю. Нейман	15
*«Разлукой не пугай напрасно...» Перевод Ю. Нейман	16
*«Тоска души моей, как капля, пролилась...» Перевод Ю. Нейман	17
Свети, звезда. Перевод А. Наумова	18
«Снова мчится куда-то аллея...» Перевод А. Наумова	19
«Сети полнотчи странны и нежны...» Перевод А. Наумова	20
Когда я вернулся. Перевод А. Наумова	21
Женщина-кондуктор. Перевод А. Ромова	24
Комсомольская песня. Перевод С. Виленского	25
«Ах, ничто не забыто...» Перевод А. Наумова	26
«Сколько раз повторить твоё имя...» Перевод А. Наумова	27
*Зимний вечер. Перевод Ю. Нейман	28
«Это лето милосердно...» Перевод А. Наумова	29
«Полночь досыта звезд половила...» Перевод А. Наумова	30
«Снова в знойном саду моей думы...» Перевод А. Наумова	31
*Рассвет. Перевод Ю. Нейман	32
Поход в науку. Перевод С. Виленского	33
«Стих ветер...» Перевод А. Наумова	36
Детям рабочего городка. Перевод А. Ромова	37
Узбекистан. Перевод А. Наумова	39
На полевой дороге. Перевод А. Ромова	41
*«Сгорают лето. Зной пошел на спад...» Перевод Ю. Нейман	42
Избавление. Перевод С. Виленского	43
Прометей. Перевод Гл. Семенова	47
Вечерняя звезда. Перевод С. Виленского	49
*«В лучах заката образ твой плывет...» Перевод Ю. Нейман	51
«Мир распахнут перед тобой...» Перевод С. Виленского	52
«Как вечный отголосок...» Перевод В. Львова	53
«Милой глаза, что влекут так безудержно, вспомни!...» Перевод Н. Тихонова	54
«Смотрю ли с вершины на синий простор...» Перевод Б. Лейкина	55
*«Счастьем сердце до краев полно...» Перевод Ю. Нейман	56
Намотак. Перевод Н. Тихонова	57

Однодневная прогулка. Перевод А. Наумова	58
*«Как черный бархат в блестках золотых...» Перевод Ю. Нейман	61
«Горят в ночи, как жемчуга...» Перевод С. Виленского	62
Прощание. Перевод Н. Тихонова	63
*Пушкин. Перевод Ю. Нейман	66
Машраб. Перевод Б. Лейтина	68
*И взоры, и душа к тебе устремлены...» Перевод Ю. Нейман	71
Твоя радость. Перевод В. Державина	72
*«Лей, дождь осенний! Непрерывно лей...» Перевод Ю. Нейман	74
*«Тихонько по дорожке я бреду...» Перевод Ю. Нейман	75
Праздник славы. Перевод В. Державина	76
Председательница. Перевод К. Симонова	77
В Мавзолее Ленина. Перевод А. Наумова	79
Вещая лира. Перевод Н. Сидоренко	81
Перед памятником. Перевод А. Наумова	82
В Карачи. Перевод А. Наумова	84
*«Уносит все, кружа, водоворот...» Перевод Ю. Нейман	85
Тюльпаны. Перевод А. Наумова	86
Бабур. Перевод В. Орловой	87
«По тайным тропам, от звезды к звезде...» Перевод А. Наумова	90
«Поздний ветер заплакал в печали...» Перевод А. Наумова	91
«Когда с души спадает тяжкий гнет...» Перевод А. Наумова	92
«Юность — бутон, страсть — слово цвет...» Перевод А. Наумова	93
*«Ни чувствовать, ни думать не ленись...» Перевод Ю. Нейман	94
*«Не говори, что думать — недосуг...» Перевод Ю. Нейман	95
*«Подолгу жили мудрецы Земли...» Перевод Ю. Нейман	96
*«Дурные люди встали на пути?...» Перевод Ю. Нейман	97
*«Мысль — молния. Она острее алмаза...» Перевод Ю. Нейман	98
*«Смеркается... Летит издалека...» Перевод Ю. Нейман	99
*«Ночное небо надо мною черно...» Перевод Ю. Нейман	100
«Нет предела мечте — как и небу...» Перевод А. Наумова	101
*«Я в море жарких мыслей погружен...» Перевод Ю. Нейман	102
*«Бездонны мысли, правда — далека...» Перевод Ю. Нейман	103
*«Осенний лист! Оттенки всей вселенной...» Перевод Ю. Нейман	104
«Огонь погас, остался лета жар...» Перевод А. Наумова	105
Памяти Анны Ахматовой. Перевод А. Наумова	106
*«Потоки света с гор струятся вниз...» Перевод Ю. Нейман	108

Поэмы

Мечь. Перевод А. Наумова	109
Бахтыкуль и Сагындык. Перевод Д. Голубкова	124
О кузнеце Джуре-Кяфуре. Перевод В. Луговского	134
Навои. Перевод А. Наумова	141
Скрипач. Перевод А. Наумова	152
Зафар и Захра. Перевод В. Орловой	158
Девушки. Перевод С. Сомовой	171
Хамза. Перевод А. Наумова	207
Мой дед. Перевод Р. Сефа	235
Рана моего века. Перевод В. Рождественского	247
Гули и Навои. Перевод В. Рождественского	256
Пояснительный словарь	281

© Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1987 г.

АИБЕК
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ V

МОЙ ГОЛОС

Стихотворения и поэмы

Перевод с узбекского

Редактор Л. КУМЕХОВА
Художник В. ШУМИЛОВ
Художественный редактор М. КАРПУЗАС
Технический редактор Е. ПОТАПОВА
Корректор Э. ДЖАББАРХОДЖАЕВА

ИБ 3589

Сдано в набор 10.09.86. Подписано в печать 06.01.87.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 1. Печать
высокая. Усл. печ. л. 15,12+0,42 вкл. Усл. кр.-оттисков
15,54. Уч.-изд. л. 12,54+0,32 вкл. Тираж 45000. За-
каз № 233. Цена 1 р. 60 к. Дог. № 116—84.

Издательство литературы и искусства имени Гафура
Гуляма, 700129, Ташкент, ул. Навои, 30.

Типография № 2 ТППО «Матбуот» Государственного ко-
митета УзССР по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли, Янгиуль, ул. Самаркандская, 44,

Уз2
А37

Айбек.

Собрание сочинений: В 5-ти т. Т. 5. Мой голос: Стихотворения и поэмы/Редкол.: А. Арипов, Джамал Камал, Н. Каримов и др.; Сост.: З. Н. Саиднасырова, Н. Ф. Каримов.— Т.: Изд-во лит. и искусства, 1987.— 288 с.

В пятый том собрания сочинений народного писателя Узбекистана Айбека вошли поэгические произведения автора,

Уз2